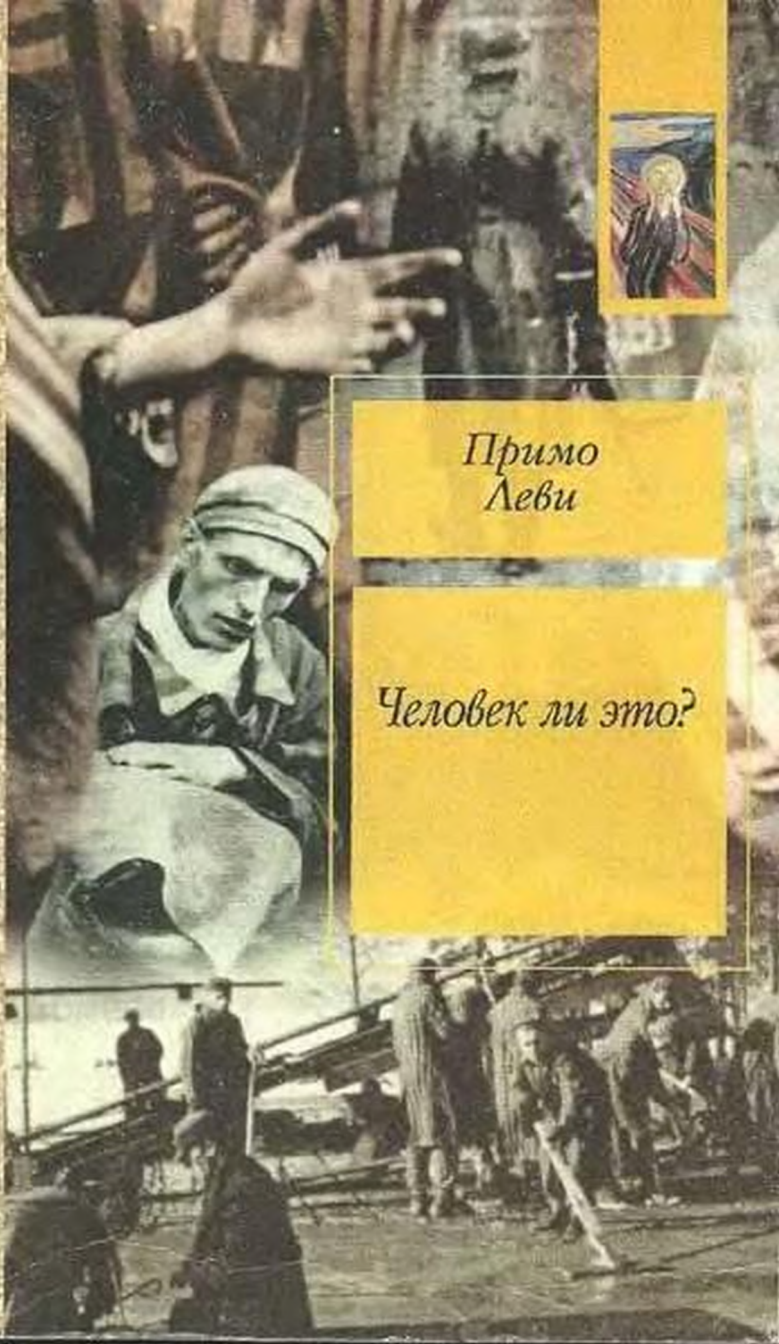




*Примо
Леву*

Человек ли это?



*Книга издана при поддержке
благотворительной организации
Институт «Открытое общество»
(Фонд Сороса)— Россия
в рамках программы
«Горячие точки»*



*Primo
Levi*

Se questo è un uomo

Примо
Леви

Человек ли это?

Перевод с итальянского
Елены Дмитриевой

Предисловие
Михаила Швыдкого



«ТЕКСТ»
ЖУРНАЛ «ДРУЖБА НАРОДОВ»
МОСКВА 2001

ББК 84(4Ита)
Л36

Художник Татьяна Иващенко

*В оформлении серии
использован фрагмент картины
Эдварда Мунка «Крик»*

ISBN 5-7516-0214-5

© 1958, 1963 e 1989 Giulio Einaudi editore s. p. a., Torino

© «Текст», издание на русском языке, 2001

ПОСЛАНИЕ СОВРЕМЕННОКАМ И ПОТОМКАМ

Книга Примо Леви «Человек ли это?» появится на русском языке в 2001 году, уже в XXI веке, когда про Вторую мировую войну, как, впрочем, и про все ужасы и трагедии, выпавшие на долю еще живущих людей, станут говорить: «Ну, это было в прошлом столетии...» И начнут расхваливать наступивший век как эру невиданного прогресса и социальной умиротворенности.

Так было всегда в пору перехода от одного столетия к другому, когда наше чванливое высокомерие с такой скоростью устремлялось в будущее, словно перемены в календаре защищали нас от нас же самих, каким-то неведомым образом улучшая человеческую природу.

Мы стараемся забыть свое прошлое — особенно те его моменты, когда немалая часть человечества проявляла не лучшие свои качества, безжалостно и изощренно уничтожая других. Этими другими могли быть люди другой расы или нации, а могли быть соотечественники, исповедующие другую веру или другие политические взгляды. Или вообще ни в чем не повинные люди, просто попавшие под каток исторической необходимости. Резервации для аборигенов в Австралии, невольничьи лагеря в Соединенных Штатах, ГУЛАГ и Освенцим (Бухенвальд, Майданек и т.д.) мало чем отличались друг от друга. Апология неволи для одних и безнаказанности для других сначала уничтожала человеческую природу, а затем и государственные системы, порождающие насилие одних над другими.

Правда, только в ГУЛАГе и в нацистских лагерях уничтожения палачи нередко становились жертвами и заполняли опустевшие бараки, которые еще недавно они охраняли сами.

Понятно, что человечество хочет сохранить хорошую память о себе самом для собственного потомства. Но реальное будущее можно строить, как писал Т.С.Элиот, только на реальном прошлом.

В политике действуют свои законы — желание ФРГ оставить в минувшем веке тринадцать лет гитлеровского рейха столь же объяснимо, как и желание России помнить, кто и какой ценой стал победителем в самой страшной войне, которую когда-либо знало человечество.

Но книга Примо Леви, завершенная в январе 1947 года, через два года после того, как он вышел из Освенцима, — эта книга написана не о законах политики, а о проблемах человеческого существования: перед лицом жизни и перед лицом смерти.

В отличие от своих французских современников — Ж.-П.Сартра прежде всего, — Примо Леви не культивирует героический жест перед лицом смерти. Его занимает иное: само человеческое существование. Точнее — те пределы, в которых человек сохраняет свою индивидуальность, и граница между биологическим и духовным существованием.

У Леви нет пафоса притяия или неприятия людей в зависимости от их способности (или неспособности) к сопротивлению обстоятельствам. Он рассказывает о том, что было и что есть на самом деле, что происходило с человеком из плоти и крови, которому надо есть, пить, опорожнять свой кишечник и мочевой пузырь, мыться, согревать свое тело и предохранять себя от непосильного труда, голода — и от себе подобных. Он размышляет о человеке, который попал в такие предлагаемые обстоятельства, что были созданы не просто для уничтожения человека как биологической массы, но как духовного существа.

Примо Леви не пишет о фашистах, о тех, кто охранял и убивал. Они, создавшие этот безупречный механизм смерти, практически не интересуют его. Разве что одно пронзительное наблюдение: немцы продолжают строить химический завод рядом с лагерем, когда советские войска уже подходят к Освенциму, — нет приказа, останавливающего строительство; это ли не свидетельство полного абсурда закованного в броню немецкого порядка. Но Леви не волнуется, что там внутри.

В 1945-м, 46-м и 47-м годах он был слишком обожен лагерем, чтобы думать о трагедии палачей. Он размышляет о трагедии жертв. О трагедии разрушения тех европейских гуманистических ценностей, которые сформировали его самого, дипломированного миланского химика, потом партизана и, наконец, узника одного из лагерей Освенцима. «Уничтожить человека трудно, почти так же трудно, как и создать, — пишет он после эпизода казни на лагерном плацу. — Но вам, немцы, это в конце концов удалось. Смотрите на нас, покорно идущих перед вами, и не бойтесь: мы не способны ни на мятеж, ни на протест, ни даже на осуждающий взгляд».

Книга Леви потрясает не живописанием того, как люди убивали людей, — об этом написано много и порой в высшей степени талантливо. Она ошеломляет скрупулезным, деталь к детали, и абсолютно беспарошным повествованием о том, как в людях убивали людей. О том, как, выживая биологически, люди теряли последние представления о том, что хорошо и что плохо, — лагерная мораль отличается от обычной вовсе не количественными показателями. Она совсем другая, из жизни иного биологического вида. Но сам факт, что вид этот — тоже (тот же) человек, потрясает еще в большей степени.

Книгу Леви, после того как к ней пришла мировая слава (а случилось это после второго издания в 1957 году), нередко сравнивали с «Одним днем Ивана Денисовича» Александра Солженицына. Но мне кажется, что она ближе прозе Варлама Шаламова с его бесстрашным взглядом на беспредельность человеческого падения и человеческого величия.

Впрочем, всякие сравнения имеют свои изъяны. Творчество Примо Леви 40—50-х годов — плоть от плоти итальянского неореализма, обостренно внимательного к любому проявлению жизни, культивирующему бесценность бескорыстных человеческих отношений.

«С первого (...) проявления гуманности начинался новый отсчет: оставшиеся в живых хефтлинги («заключенные». — *М.Ш.*) стали снова превращаться в людей». От отчаяния читателя книги спасает именно эта фраза. Люди вновь становятся людьми — только путь к себе так же мучителен, как и путь от себя.

Книга Примо Леви пришла к российскому читателю более чем через полвека после первого издания в Турине. Но такие книги никогда не опаздывают. Они всегда ко времени. Потому что мы никогда не сможем понять мир, в котором живем — его прошлое, настоящее и будущее, — если не будем помнить, что ад и рай — внутри каждого из нас.

Книга Примо Леви — послание из прошлого в будущее.

Послание, которое надо прочесть современникам и потомкам. Как и другие книги о лагерях смерти. Их строили люди для людей.

Эти книги нужно читать и ясно помнить, о чем и зачем они написаны.

Увы, история повторяется не только как фарс.

Михаил ШВЫДКОЙ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Мне повезло: я был депортирован в Освенцим только в сорок четвертом году — уже после того, как немецкие власти, учитывая все возрастающую нехватку рабочих рук, решили увеличить среднюю продолжительность жизни обреченных на уничтожение узников, ощутиمو улучшив условия их существования и временно прекратив бесконтрольные убийства.

Поэтому, что касается ужасающих подробностей, моя книга не прибавит ничего нового к известной всему миру чудовищной правде о лагерях смерти. Она написана не с целью выдвинуть новые обвинения; скорее содержащиеся в ней факты могут послужить для бесстрастного изучения некоторых особенностей человеческой души. Многие люди и целые народы, не всегда отдавая себе в этом отчет, считают, что «всякий чужой — враг». У большинства это убеждение таится глубоко в душе, словно скрытая инфекция, и, проявляясь лишь в эпизодических и несогласованных действиях, не заложено в системе мышления. Но когда убеждение укореняется, когда смутное представление становится большей посылкой силлогизма, тогда в конце цепи возникает лагерь. Он — результат воплощенного с неукоснительной логикой миропонимания, и до тех пор, пока такое миропонимание существует, существует и угроза его воплощения. История лагерей уничтожения должна стать для всех зловещим сигналом опасности.

Я знаю о недостатках в построении книги и прошу извинить меня за них. Если не фактически, то как идея она родилась в дни лагеря. Необходимость рассказать

«остальным», сделать «остальных» соучастниками, приняла для нас, до освобождения и после, характер настолько неотложной и настойчивой потребности, что вступила в соперничество со всеми иными потребностями; при этом главным стимулом к написанию книги стала попытка внутреннего освобождения. Отсюда ее фрагментарный характер: отдельные главы писались не в логической последовательности, но в зависимости от того, о чем не терпелось рассказать в первую очередь. Общий план книги появился уже потом, так что работа по соединению глав и распределению материала была сделана позже.

Мне представляется излишним добавлять, что ни один из фактов не является вымышленным.

Примо ЛЕВИ

ЧЕЛОВЕК ЛИ ЭТО?

*Вы, что живете спокойно
В теплых своих жилищах,
Вы, кого дома по вечерам
Ждет горячий ужин и милые лица,
Подумайте, человек ли это —
Тот, кто не знает покоя,
Кто работает по колено в грязи,
Кто борется за хлебные крохи,
Кто умирает по слову «да» или «нет»?
Подумайте, женщина ли это —
Без волос и без имени,
Без сил на воспоминанья,
С пустыми глазами, с холодным лоном,
Точно у зимней лягушки?*

Представьте, что все это было:

Заповедую вам эти строки.

Запечатлейте их в сердце,

Твердите их дома, на улице,

Спать ложась, просыпаясь.

Повторяйте их вашим детям.

А не то пусть рухнут ваши дома,

Пусть болезнь одолеет,

Пусть отвернутся от вас ваши чада.*

* Перевод Евгения Солоновича.

ПУТЬ

Я попал в руки фашистской милиции в сорок третьем, 13 декабря. Мне было двадцать четыре года. Наивность, отсутствие всякого опыта, а также действующие уже больше четырех лет законы о расовых ограничениях способствовали тому, что я жил в своем, далеком от реального, мире призрачных идеалов картезианства, веры в мужское товарищество и непорочную дружбу с женщинами. Чувство протеста медленно зрело во мне, но конкретных планов борьбы не было.

Не так легко далось мне решение уйти в горы и принять участие в создании группы, которую мы с друзьями, не намного более опытными, чем я, намеревались превратить в партизанский отряд, чтобы влиться с ним в движение «Справедливость и свобода». У нас не было ни надежных связей, ни оружия, ни денег, мы понятия не имели, как все это найти; не было у нас и толковых советчиков, поэтому мы растворились в потоке самых разных, подчас случайных, не внушавших доверия людей, поднимавшихся с равнины в поисках кто чего: несуществующей организации, профессиональных кадров, оружия, протекции, укрытия, очага, а то и пары башмаков.

Тогда мне еще не был известен закон, который уже позже, в лагере, я очень быстро усвоил: главное в жизни — добиваться своей цели любыми средствами, а если просчитался — сам и виноват. Таким образом, нельзя не признать, что дальнейший ход событий был вполне закономерным: три милицейских центурии, отправившись глубокой ночью на захват другого, распо-

ложенного в соседнем ущелье и несравненно более сильного и опасного отряда, наткнулись в снежных предрассветных сумерках на наше укрытие и препроводили меня как подозрительную личность в долину.

Во время допросов я счел за лучшее заявить, что являюсь «итальянским гражданином еврейской расы», поскольку иначе, решил я, мне никак не объяснить своего присутствия в этих глухих местах, куда не забирались даже эвакуированные. Я был уверен (потом оказалось — совершенно напрасно), что, если откроется моя причастность к политике, меня будут пытать и наверняка убьют. Как еврея меня отправили в Фоссолли — большой лагерь под Моденой, первоначально предназначенный для английских и американских военнопленных, куда затем стали свозить и гражданских лиц самых разных категорий, не угодивших по той или иной причине новоиспеченному правительству недавно созданной фашистской республики*.

Когда я попал в лагерь, а точнее, к концу января 1944 года, итальянских евреев насчитывалось там около ста пятидесяти человек, но уже через несколько недель их число перевалило за шестьсот.

В основном это были целые семьи, схваченные фашистами или нацистами по доносу либо попавшиеся по собственной неосторожности. Встречались и такие, кто объявился добровольно: одни — от отчаяния, не в силах больше прятаться, другие — не имея средств к существованию, третьи — чтобы не разлучаться с привезенными сюда близкими, четвертые — какая глупость! — «чтобы не нарушать закона». Кроме того, в лагере находилось около сотни интернированных юго-

* После подписания 8 сентября 1943 г. перемирия между правительством Бадольо и союзниками, Италию (с севера до Неаполя) оккупировали немецкие войска, а 23 сентября на подконтрольной гитлеровцам территории была создана неофашистская «социальная» республика во главе с Муссолини («Республика Сало»). (Здесь и далее примеч. переводчика.)

славских солдат и еще несколько политически неблагонадежных иностранцев.

Появление небольшого подразделения немецких эсэсовцев насторожило даже оптимистов. Новость обсуждалась на все лады, высказывались всевозможные версии, но предположить, что готовится депортация, не смог никто, поэтому ошеломляющее известие всех застало врасплох.

Еще 20 февраля немцы тщательно обследовали лагерь, прилюдно изругали итальянского комиссара за неудовлетворительную работу кухни и скудные нормы дров, отпускаемых для отопления бараков, даже пообещали открыть в ближайшее время медпункт, а уже 21-го стало известно, что на следующий день назначена отправка евреев. Всех, без исключения. Даже детей и стариков, даже больных. Куда — неизвестно. Подготовиться к пятнадцатидневному пути. За каждого, кто не явится на перекличку, будет расстреляно десять человек.

Только самые доверчивые и простодушные продолжали еще на что-то надеяться, но таких можно было по пальцам пересчитать. Мы много разговаривали с еврейскими беженцами из Польши и Хорватии, поэтому уже представляли себе, что значит «отправка».

Традиция требует, чтобы в отношении приговоренных к смерти строго соблюдался определенный ритуал, смысл которого заключается в следующем: отныне никакие проявления жестокости или мести недопустимы; приговор есть не что иное, как печальная обязанность общества, и в момент совершения акта правосудия все, включая и самого палача, должны скорбеть о жертве. Поэтому приговоренный имеет право на сочувствие, ему предоставляется возможность провести последнюю ночь наедине с самим собой или, если он пожелает, в обществе духовных утешителей; его ограждают от людской ненависти и произвола, приучая к мысли о неотвратимости кары и о прощении, которое он обретает в момент казни.

Но к нам это не относится, потому что нас слишком много, а времени слишком мало, да и в чем, собственно, нам каяться, за что нас должны прощать? Итальянский комиссар распорядился, чтобы все службы работали до последнего момента, поэтому на кухне продолжали готовить еду, дежурные, как обычно, занимались уборкой, даже учителя младших и старших классов маленькой школы не отменили занятий в вечерней смене, правда, уроков на следующий день не задали.

И настала ночь, и была эта ночь такой, что ни пережить ее, ни увидеть глазами человеческими было невозможно. Все понимали, что это за ночь, и никому из охранников, итальянских и даже немецких, не хватило духу прийти и посмотреть, что делают люди, которые знают, что должны умереть.

Каждый прощался с жизнью по-своему, как умел: одни молились, другие пили, третьи пытались забыться, насыщая в последний раз свою похоть. А матери бодрствовали и заботливо готовили в дорогу еду, купали детей, складывали вещи, до утра сушили на ветру выстиранное детское белье. Они собрали пеленки, игрушки, одеяла и много всего другого, не забыв ничего, что могло бы понадобиться их малышам. А разве вы не сделали бы этого? Даже зная, что завтра должны умереть вместе с вашим ребенком, разве накануне вы не дали бы ему поесть?

В шестом бараке жил старый Гаттеньо с женой, детьми, внуками, зятьями и невестками; все мужчины в этой многочисленной семье занимались столярным делом. Родом они были из Триполи, до Италии добирались долгими сложными путями и всюду возили с собой рабочий инструмент, кухонную утварь, гармошки и скрипку, чтобы можно было поиграть и потанцевать после трудового дня, поскольку люди они были не только добродетельные, но и веселые. Женщины Гаттеньо, работая молча и споро, раньше других собрались в дорогу, оставив время для поминальной молитвы.

Когда все было готово — испечены лепешки и завязаны узлы, — они разулись, распустили волосы, расставили на полу траурные свечи, зажгли их по обычаю предков, сели в круг и всю оставшуюся ночь плакали и молились. Многие из нас стояли у их двери, и все ощутили в душе незнакомое прежде чувство древней боли народа-скитальца, безнадежной боли повторяющегося из века в век исхода.

Рассвет настиг нас, как предательство, словно новое солнце было в сговоре с теми, кто хотел нас погубить. Самые разные чувства, которые мы испытали за долгую бессонную ночь — покорность, апатия, безграничное возмущение, религиозное смирение, страх, отчаяние, — уступили место коллективному, уже не контролируемому безумию. Время раздумий, время напряженного ожидания кончилось, всеобщее, ничем не сдерживаемое смятение поглотило разум, и сознание озаряли лишь короткие болезненные вспышки совсем недавних, живых воспоминаний о родном доме.

Много всего было нами тогда сказано и сделано, и лучше, если памяти об этом не останется.

С абсурдной пунктуальностью, к которой нам в скором времени пришлось привыкнуть, немцы провели переключку. Напоследок обершарфюрер спросил:

— *Wieviel Stück?**

Роттенфюрер вытянулся по стойке «смирно» и доложил, что «штук» шестьсот пятьдесят, все сходится. После этого нас посадили в крытые грузовики и отвезли на вокзал в Карпи. Там нас уже ждали поезд и конвой. Там же на нас посыпались первые удары, и это было настолько неожиданно и дико, что мы не почув-

* Сколько штук? (нем.)

ствовали боли, ни физической, ни душевной, одно лишь глубокое удивление: как можно просто так, ни за что, бить человека?

Вагонов было двенадцать, нас — шестьсот пятьдесят. В моем вагоне оказалось всего сорок пять человек, правда, и вагон был небольшой. Вот он, уже у нас перед глазами, уже под нашими ногами, тот самый немецкий поезд, пресловутый поезд в один конец, о котором мы слышали столько страшных рассказов и все равно не могли поверить. Да, так оно и есть, нас не обманывали: товарные вагоны, запертые снаружи и безжалостно, до отказа забитые, точно бросовым грузом, мужчинами, женщинами, детьми, чей путь лежит в никуда, в пропасть, на дно. Только теперь в вагонах — мы сами.

Рано или поздно все начинают понимать, что безграничного счастья в жизни быть не может, но лишь немногие открывают для себя эту истину с противоположного конца, приходя к выводу, что точно так же не может быть и безграничного несчастья. Достичь как одного, так и другого полюса нам мешает обусловленность самого человеческого существования, враждебного по своей природе всему бесконечному. Мешает недостаточное знание будущего, таящего в себе надежду и одновременно неуверенность в завтрашнем дне. Мешает неминуемость смерти, кладущей предел любой радости, как, впрочем, и любому страданию. Мешают нам и неизбежные бытовые заботы, способные не только разрушить длительное счастье, но и притупить остроту долго дрящегося несчастья, которое воспринимается уже не целиком, а отдельными фрагментами, благодаря чему легче переносится.

Отсутствие элементарных удобств, грубость охраны, холод и жажда — вот от чего мы, ввергнутые в бездонную пропасть отчаяния, страдали в пути и после. Воля к жизни или примирение со смертью — свойства исключительные, на такое мало кто способен; мы же бы-

ли людьми обыкновенными, обычными представителями рода человеческого.

Двери вагонов тут же заперли, но состав тронулся лишь к вечеру. Почти с облегчением мы восприняли известие, что пункт нашего назначения — Освенцим. Тогда это слово еще никому, в том числе и нам, ничего не говорило, оно воспринималось просто как географическое название, как одно из многих мест на земном шаре.

Поезд шел медленно, с долгими изматывающими остановками. В узкой прорези над нашими головами проплыли бледные вершины Валь-д'Аидже, надписи с названиями последних итальянских городов. В полдень второго дня, когда мы проезжали Бреннеро, все молча встали. Меня вдруг пронзила мысль о возвращении, я представил себе, какое это будет несказанное счастье — пересечь границу в обратном направлении, уже без охраны, свободными людьми, в незапертом вагоне, прочесть первые итальянские названия... И, оглянувшись вокруг, подумал: кому из этих несчастных суждено превратиться в прах, а к кому судьба будет милостива?

Из сорока пяти моих попутчиков лишь четверем выпало вернуться домой, причем, как в дальнейшем выяснилось, нашему вагону еще повезло.

Мы страдали от жажды и холода. На каждой остановке люди громко просили дать им воды или, по крайней мере, пригоршню снега, но их некому было услышать: конвой отгонял от состава всех, кто пытался к нему приблизиться. Две молодые матери, еще кормившие своих детей грудью, дни и ночи напролет молили: пить... пить... Голод, бессонницу, тяжелые условия пути мы переносили не так мучительно, возможно, из-за нервного возбуждения, но ночи были невыносимы, они тянулись, как бесконечный кошмар.

Людей, способных встретить смерть с достоинством, мало, и чаще это совсем не те, от кого ты мог бы этого ожидать. Мало умеющих молчать и уважать покой других. Наш беспокойный сон то и дело прерывал-

ся громкой мелочной руганью, проклятьями, звуками неизвестно кому и за что доставшихся оплеух и тумачков. Кто-то зажигал вдруг свечку, и тогда жалкий язычок пламени освещал смутное кишение на полу, плотную и подвижную человеческую массу, лица с выражением равнодушия или муки, судорожные всплески отчаяния и сменяющую их апатию.

Знакомые и незнакомые названия австрийских городов, Зальцбург, Вена, потом чешские и, наконец, польские. К вечеру четвертого дня стало гораздо холоднее. Поезд, явно преодолевая подъем, шел через сплошную черноту хвойного леса. Вокруг лежал снег. Скорее всего, мы свернули на боковую ветку: станции маленькие, людей почти не видно. Никто больше во время стоянок не пытался общаться с внешним миром, каждый понимал, что мы уже «по ту сторону». Мы долго стояли в чистом поле, потом состав медленно двинулся и долго полз, пока окончательно не остановился среди ночи на темной безмолвной равнине.

Справа и слева от полотна, насколько мог видеть глаз, уходили вдаль полосы белых и красных огоньков, однако характерного для города или большого поселка шума, обычно доносящегося даже издалека, слышно не было. Мы зажгли последнюю свечу и в тишине стоящего поезда, которую не нарушал ни один живой звук, ждали, что с нами будет.

Во время всего пути рядом со мной, зажатая, как и я, другими телами, была женщина. Знакомые давно, мы близко узнали друг друга лишь теперь, когда несчастье свело нас вместе. Той ночью, на пороге неизвестности, мы говорили о вещах, о которых живые не говорят, потом попрощались. Это было короткое прощанье, не только друг с другом, но и с жизнью. Больше нам не было страшно.

И вдруг началось. Со скрежетом открылись двери, темнота вагона наполнилась лающими звуками непонят-

ных немецких команд, в которых слышалась древняя злобность варваров. Зажглись прожекторы, и перед нами открылась широкая платформа. Чуть поодаль — длинный ряд грузовиков. Неожиданно наступила тишина. Кто-то перевел: выходить с вещами и складывать их вдоль состава. В одну минуту платформа заполнилась движущимися тенями. Никто не решался нарушить тишину. Столпившись у своих вещей, люди разговаривали и окликали друг друга тихо, почти шепотом.

На некотором расстоянии от нас, широко расставив ноги, стояли цепочкой равнодушные эсэсовцы. Вдруг они двинулись вперед, вошли в толпу и негромко, с каменными лицами, стали быстро задавать вопросы на плохом итальянском. Выборочно, не всем. «Сколько лет?» «Здоров или болен?» И в зависимости от ответов направляли в одну или другую сторону.

Тишина была, как в аквариуме или иногда во сне. Мы были готовы к чему-то апокалиптическому, а нас встретили обыкновенные стражи порядка. Это расслабляло, обезоруживало. Кто-то осмелился спросить про вещи. «Вещи потом», — ответили ему. Кто-то не хотел расставаться с женой. «Скоро опять будете вместе», — успокоили его. Многие матери не отпускали от себя детей. «Хорошо, хорошо, пусть останутся с вами», — разрешили им. И все это с терпеливым спокойствием тех, кто изо дня в день выполняет привычную работу. Но когда Ренцо чуть замешкался, прощаясь со своей невестой Франческой, его одним сильным ударом в лицо свалили на землю, — такая вот привычная работа.

Меньше чем за десять минут все трудоспособные мужчины оказались собранными в одну группу. Что случилось с остальными — женщинами, детьми, стариками, — мы не знали и не узнали до самого конца. Их просто поглотила ночь. Теперь зато нам уже известно, что при том беглом, спешном отборе нас оценивали лишь с одной точки зрения: способны мы или не способны работать на рейх. Нам известно, что в лаге-

ря Буна-Моновиц и Биркенау из нашего транспорта попало девяносто шесть мужчин и двадцать девять женщин, а остальные (их было более пятисот человек) уже два дня спустя не числились в списках живых. Также нам известно, что не всегда прибегали даже и к такому примитивному методу определения годности или негодности; часто применяли и совсем простую систему отбора: открывали вагоны сразу на две стороны, ничего при этом не объясняя прибывшим. Одни по воле случая выходили на ту сторону, откуда отправляли в лагерь; тех, кто выходил на другую, отправляли в «газ».

Так умерла трехлетняя Эмилия, умерла только потому, что уничтожение еврейских детей немцы считали исторической необходимостью. Эмилия, дочка миланского инженера Альдо Леви, была веселая, любопытная, умная и самолюбивая девочка; за время пути в переполненном вагоне отец с матерью ухитрились даже выкупать ее в цинковой ванночке, получив разрешение у немца-машиниста (как говорится, в семье не без урода) нацедить немного теплой воды из крана паровоза, везущего всех нас навстречу смерти.

И так же в одно мгновение, обманом, у нас забрали навсегда наших жен, наших родителей, наших детей. Никто даже не успел толком проститься. Мы увидели лишь темную толпу в дальнем конце платформы, а потом ничего уже не видели.

Там, где они исчезли, через некоторое время возникли в свете фонарей две колонны странных существ. Они шли по трое в ряд неестественным скованным шагом, с опущенными головами, повисшими вдоль тела руками. На всех были одинаковые дурацкие шапки и несуразные полосатые хламиды, причем грязные и рваные, это было заметно даже издали, при плохом освещении. Существа обошли нас на значительном расстоянии и, подойдя к составу, стали молча собирать наши вещи и проверять пустые вагоны.

Мы безмолвно смотрели на них. Все было необъяснимо, дико, но одно мы поняли: такая же метаморфоза произойдет и с нами, завтра и мы станем такими же.

Сам не помню, как я очутился в крытом кузове грузовика вместе с тремя десятками других мужчин. Грузовик сорвался с места и помчался на полной скорости в темноту, видно ничего не было, но по заносам и тряске чувствовалось, что дорога разбита и все время петляет. Едем без охраны? Может, прыгнуть вниз? Слишком поздно, слишком поздно, мы и так летим «вниз». К тому же вскоре обнаруживается, что охрана есть, но несколько необычная: один-единственный немецкий солдат, правда вооруженный. Мы не видим в темноте оружия, но ощущаем его холодную твердость всякий раз, когда на вираже нас заносит то влево, то вправо. Солдат зажигает карманный фонарик, но вместо подходящего к случаю «О, горе вам, проклятый род!»*, вежливо обращаясь к каждому, спрашивает по-немецки и с помощью жестов, есть ли у нас деньги и часы и не отдадим ли мы их ему, ведь нам самим они все равно больше не понадобятся. Ясно, что он действует не по приказу и не по инструкции, просто наш Харон решил проявить небольшую личную инициативу. Нам смешно и грустно, даже, как ни странно, на душе полегчало.

* Данте, «Божественная Комедия», Ад, III, 84. Здесь и далее поэма Данте цитируется (кроме оговоренных случаев) в переводе М. Лозинского.

НА ДНЕ

Дорога заняла минут двадцать, не больше. Когда грузовик остановился, мы увидели большие ворота, а над ними ярко освещенную надпись (воспоминание о ней и поныне преследует меня во сне): ARBEIT MACHT FREI — труд делает свободным.

Вылезаем, нас вводят в большое голое помещение, где не намного теплее, чем на улице. До чего же хочется пить! От слабого журчания воды в радиаторах мутится рассудок — ведь мы уже четыре дня без воды! Водопроводный кран есть, но табличка над ним гласит, что вода загрязнена и пить ее запрещается. Глупости, я уверен, над нами просто издеваются. Зная, что мы умираем от жажды, «они» нарочно привели нас сюда, где кран есть, а Wassertrinken verboten!* Решаюсь напиться и уговариваю других последовать моему примеру, но тут же сплевываю: вода теплая, сладковатая, пахнет болотом.

Это ад. Сегодня, в наше время, таким только и может быть ад: большое пустое помещение, капающий кран, из которого нельзя напиться, мы, уставшие стоять на ногах, в ожидании чего-то поистине ужасного, но ничего не происходит, ожидание длится и длится. Не знаем, что и думать. Да мы уже и не можем думать,

* Иностраный текст, в первую очередь немецкий, П.Леви воспроизводит со слуха, часто с орфографическими ошибками. Заключенные из разных стран общались в лагере на немецком жаргоне, родственном, по определению автора, языку прусской казармы и эсэсовскому новоязу.

мы словно умерли. Кто-то садится на пол. Время сочится по капле.

Нет, мы не умерли. Открывается дверь, и входит эсэсовец с сигаретой. Не спеша оглядев нас, он спрашивает:

— Wer kann Deutsch (кто знает немецкий)?

Некто Флеш (я его впервые вижу) делает несколько шагов вперед, он будет нашим переводчиком. Эсэсовец говорит долго и невозмутимо, Флеш переводит. Мы должны построиться по пять человек в ряд на расстоянии двух метров друг от друга; потом раздеться и сложить одежду в определенном порядке: шерстяные вещи в один узел, все остальное — в другой; обувь снять, но внимательно следить, чтобы ее не украли.

Чтобы кто не украл? С какой стати мы будем красть друг у друга обувь? А документы куда, всякие мелочи из карманов, часы? Мы все смотрим на переводчика, переводчик спрашивает немца, немец курит и глядит по сторонам, мимо переводчика, будто он прозрачный, будто никто не задавал никаких вопросов.

Я впервые в жизни вижу голого старика. У синьора Бергмана грыжа, он спрашивает переводчика, должен ли он снять бандаж. Переводчик минуту колеблется, но немец понял вопрос и, показав на кого-то, произносит с серьезным видом несколько слов. Переводчик словно переваривает услышанное, потом говорит:

— Господин обершарфюрер сказал, чтобы вы сняли бандаж, потом вам дадут другой, с синьора Когана.

Шуточка немца горько звучит в устах Флеша, когда он пересказывает ее нам.

Потом появляется новый немец, велит сложить обувь в один угол, и мы складываем, потому что все кончено, мы уже вне жизни, нам ничего не остается, как подчиниться. Еще один с метлой выметает обувь за порог, сгребает ее в общую кучу. Он что, ненормальный? Девяносто шесть пар ботинок перепутал, как теперь найдешь свои? Дверь раскрыта настежь, в нее тя-

нет стужей, мы стоим голые, прикрывая руками животы. Порыв ветра захлопывает дверь, но немец снова ее распахивает и задумчиво наблюдает, как мы корчимся от холода, пытаясь спрятаться друг за друга. Наконец он уходит и закрывает за собой дверь.

Акт второй: вбегают четверо в полосатых штанах и куртках с бритвами, кисточками и машинками для стрижки волос, у каждого на груди пришит номер. Возможно, они из тех, кого мы видели сегодня вечером (сегодня или вчера?), правда, у этих вид покрепче, поздоровей. Мы наперебой задаем вопросы, много вопросов, но они, не отвечая, хватают нас, и вот мы уже все обриты наголо. Как же уродливы наши лица без волос! Эти четверо говорят на каком-то несусветном языке, могу поручиться, что не на немецком, немецкий я немного знаю.

Затем открывается другая дверь, и нас, голых и обритых, загоняют в душевую и запирают всех вместе. Стоя по щиколотку в воде, мы понемногу выходим из оцепенения и начинаем задавать вопросы, на которые никто не может ответить. Если мы, голые, находимся в душевой, значит, будем мыться. Если будем мыться, значит, пока нас убивать не будут. Но почему тогда нас заставляют столько времени стоять, не дают пить, ничего не объясняют, почему отобрали обувь и одежду, почему держат раздетыми на холоде, по щиколотку в воде, почему после пяти дней пути мы не можем даже присесть?

А что с нашими женщинами?

Как я думаю, спрашивает меня инженер Леви, где сейчас наши женщины? Стоят, как и мы, в душевой? Увидим ли мы их еще когда-нибудь? Отвечаю, что увидим, ведь у него здесь жена и маленькая дочка, обязательно увидим. Но в глубине души я не сомневаюсь, что все это — чистая комедия: сначала они посмеются, поиздеваются над нами, а потом обязательно убьют. Только сумасшедший может надеяться выжить, но я не сумасшедший, я понимаю, что ско-

ро все кончится, может быть, прямо здесь, в душевой, когда им наскучит смотреть, как мы танцуем то на одной, то на другой ноге, как пытаемся опуститься на пол, но сидеть голыми в ледяной воде, покрывающей на три пальца пол, невозможно, и мы снова поднимаемся на ноги.

Так, не прерывая своих бестолковых движений, мы разговариваем, иногда одновременно в несколько голосов, поэтому становится шумно. Открывается дверь, входит немец, тот первый ээсовец. Он бросает что-то резкое, Флеш переводит:

— Господин обершарфюрер говорит, что вы должны вести себя тише, здесь не синагога.

Чувствуется, что он через силу произносит эти чужие, злобные слова, как будто выплевывает застрявший в горле несъедобный кусок. Мы умоляем его спросить у немца, чего мы ждем, сколько нам еще здесь стоять, что с нашими женщинами и еще много всего, но он отказывается, говорит, не будет спрашивать. Переводя нам скрепя сердце леденящие немецкие фразы, Флеш не хочет переводить наши вопросы, он знает, что это бесполезно. Этот замкнутый молчаливый человек, которому уже за пятьдесят, с глубоким шрамом на лице, оставшимся после ранения под Пьяве, где он участвовал в боях против итальянцев, — немецкий еврей. Я испытываю к нему невольное уважение, поскольку предполагаю, что его страдания начались раньше наших. Немец уходит, теперь мы молчим, хотя нам и стыдно немного, что мы молчим.

А ночь все не кончалась, и мы спрашивали себя, наступит ли когда-нибудь новый день.

Снова открылась дверь, и появился человек в полозатой куртке. Он совсем не такой, как те, с бритвами: гораздо старше, щуплый, в очках, довольно интеллигентное лицо, но главное — он разговаривает с нами, разговаривает по-итальянски.

Мы уже не способны удивляться. Кажется, будто мы присутствуем на каком-то безумном спектакле с ведьмами, духами и демонами.

По-итальянски он говорит неважно, с сильным иностранным акцентом, очень вежлив, много всего рассказывает и отвечает на наши вопросы.

Мы находимся в Моновице, недалеко от Освенцима, или Аушвица, — тут, в Верхней Силезии, поляки и немцы живут попеременно. Здешний лагерь — рабочий, по-немецки он называется Arbeitslager, все заключенные (их около десяти тысяч) работают на заводе по производству искусственного каучука, завод называется Буна, так же называется и сам лагерь.

Одежду и обувь мы получим, нет, не нашу, другую, но ничуть не хуже. Здесь мы стоим голые потому, что ждем душ и дезинфекцию. И то, и другое будет сразу после сигнала подъема, а без этого в лагерь нас не впустят. Конечно, мы будем работать, здесь все работают, но работа работе рознь. Сам он, например, врач из Венгрии, учился в Италии и здесь тоже работает по медицинской части — лагерным зубным врачом. В лагере он уже около четырех лет (нет, не в этом, раньше был в другом, ведь Буна существует всего полтора года) и, как мы сами можем убедиться, жив-здоров и даже не слишком отошал. За что попал в лагерь? Еврей ли он?

— Нет, — признается он откровенно, — я уголовный.

Мы забрасываем его вопросами, он отвечает на одни и пропускает мимо ушей другие, иногда посмеивается, некоторых тем явно избегает. Про женщин молчит. Говорит только, что с ними все в порядке, что скоро мы увидимся, но когда и где — не говорит. Переводит разговор на другое и рассказывает какие-то странные, невероятные вещи, наверняка врет. А может быть, он сумасшедший? Здесь не трудно сойти с ума. Он рассказывает, будто каждое воскресенье в лагере бывают концерты и футбольные матчи, будто хо-

роший боксер имеет шансы стать поваром и будто кто усердно работает, получает премиальные талоны, на которые можно купить табак и мыло. Еще он говорит, что вода здесь и вправду не пригодна для питья, что вместо воды каждый день полагается суррогатный кофе, но его обычно никто не пьет, потому что суп очень водянистый и вполне утоляет жажду. Мы умоляем его раздобыть для нас хоть какое-нибудь питье, но он говорит, что не может, что забежал тайком, нарушив запрет СС, ведь мы еще не прошли дезинфекцию, а теперь должен срочно уйти, он только потому здесь, что ему очень симпатичны итальянцы и, как он выразился, «у него чуть-чуть есть сердце». Когда мы спрашиваем, находятся ли в лагере другие итальянцы, он отвечает, да, мол, есть, но совсем немного, а сколько — он не знает, и резко меняет тему разговора. В эту минуту начинает звонить колокол, и он немедленно исчезает, оставив нас в недоумении и растерянности.

Кое-кто после его ухода приободрился, я же не поверил ни единому его слову: думаю, этот странный тип, этот лагерный зубной врач, тоже хотел поиздаться над нами, как и все остальные.

Едва затих колокол, из душевых отверстий потекла горячая вода, но блаженство длилось не больше пяти минут: опять ворвались четверо (возможно, те же самые брадобрее) и, пустив в ход угрозы и кулаки, погнали нас, распаренных и мокрых, в соседнее помещение, где было адски холодно. Там уже другие с грубыми окриками швырнули каждому по узлу какого-то тряпья, вlepили в руки по паре башмаков на деревянной подошве и, не дав нам опомниться, вытолкали голыми и босыми, с вещами под мышкой, прямо на колкий, начинающий уже синеть предутренний снег, заставив бежать в другой барак, который находился примерно в сотне метров. Только там нам разрешили наконец одеться.

Одевшись, мы стояли не шевелясь, отводя взгляды друг от друга. И хотя там не было зеркал, каждый мог увидеть свое отражение в ста мертвенно-бледных лицах, в ста оборванных, уродливых, похожих на чучела фигурах. Вот и мы превратились в таких же призраков, каких видели накануне вечером.

И тогда мы впервые задумались над тем, что в нашем языке нет слов, которыми можно назвать подобное оскорбление, подобное унижение человека. Нам вдруг почти с провидческой остротой открылась правда, мы поняли, что канули на дно. Ниже просто уже некуда опускаться, более жалких условий для жизни человека не существует, их даже нельзя себе вообразить. Ничего своего у нас больше не осталось: они лишили нас собственной одежды, обуви, даже волос. Если мы заговорим, нас не услышат, а если и услышат, то не поймут. Скоро у нас и имена отнимут, и мы должны будем собрать все силы, чтобы их не забыть и сохранить частичку самих себя, себя прежних, составлявших когда-то с нашими именами одно целое.

Мы знаем, подобное трудно понять, да это и хорошо. Но если бы вы только могли себе представить, как бесценны, как важны для каждого человека повседневные мелочи, незначительные на первый взгляд, но такие привычные вещи, которыми дано обладать даже последнему нищему: носовой платок, старое письмо, фотография кого-то из близких. Эти вещи неотделимы от нас, точно наша собственная плоть, и мы не задумываемся над тем, что значит их лишиться, — ведь в обычной жизни они легко могут быть заменены другими вещами, которые, как и прежние, хранят и будят наши воспоминания.

А теперь представьте себе человека, у которого отняли не только близких, но и дом, привычную жизнь, одежду, все, буквально все, что у него было. Такой опустошенный человек, доведенный страданиями и лишениями до отчаяния, теряет рассудок и собствен-

ное достоинство, ибо очень просто потерявшему все потерять и самого себя. А тогда уже можно с легким сердцем решать: жить или умереть такому существу, решать вопреки всяким мыслимым человеческим меркам, исходя в лучшем случае из чисто утилитарных соображений. Поняв это, легче понять двойственный смысл термина «лагерь уничтожения» и то, что мы хотели сказать словами «кануть на дно».

Я узнал, что я — *Häftling**, *хептлинг*, мое имя 174 517. Теперь мы крещеные и до конца своих дней будем носить на левой руке знак крещения — вытатуированное клеймо.

Процедура оказалась хоть и немного болезненной, зато чрезвычайно быстрой: нас выстроили друг за другом в алфавитном порядке и мы по очереди подходили к татуировщику, ловко орудовавшему чем-то вроде шила с коротеньким острием. Все это выглядело, как самое настоящее посвящение: в самом деле, ведь только обладатель номера получал право на суп и хлеб. Потребовалось немало дней, а также увесистых оплеух и тумаков, пока мы не натренировались «предъявлять номер» без задержки, не создавая помех при ежедневной раздаче пищи; а уж на то, чтобы научиться различать свой номер на слух по-немецки, ушли недели, если не месяцы. И даже теперь, когда я, войдя в привычное русло свободной жизни, хочу узнать время и смотрю на ручные часы, взгляд прежде всего упирается в синеющие под кожей цифры моего номера, моего второго имени.

Медленно, шаг за шагом, мы постигали скорбную науку освенцимских номеров, по которым можно было определять этапы уничтожения европейских евреев. Лагерному старожилу номер говорил все: когда,

* Заключенный (нем.).

каким транспортом и из какой страны заключенный прибыл. К обладателям номеров от 30 000 до 80 000 все относились с уважением: из них, обитателей польских гетто, осталось в живых всего несколько сотен. Тем, кто намеревался вступить в коммерческие отношения с номерами от 116 000 до 117 000, нужно было держать ухо востро: человек сорок, оставшихся от тысячи греков из Салоник, могли надуть любого. Что касается самых высоких (или больших) номеров, в них была заложена скорее комическая информация, и они вызывали примерно такую же насмешливую реакцию, какую в нормальной жизни вызывают слова «первокурсник» или «призывник». Типичный большой номер отличается упитанностью, пугливостью и наивностью; он готов поверить, что тем, у кого стертые ноги, в санчасти выдают кожаную обувь, и оставить свой котелок с супом тому, кто предложит его «посторожить», пока он туда сбегает. Еще такому новичку можно продать ложку за три пайки хлеба или надоумить его спросить у самого свирепого капо* (именно так попался я), не он ли возглавляет Kartoffelschälkommando, то есть команду по чистке картошки, и нельзя ли в нее записаться.

Так что процесс вхождения в этот новый для нас порядок носил отчасти и гротескный, юмористический характер.

После того как нам сделали татуировки, нас заперли в пустом бараке. Здесь нары с матрацами и одеялами, но приближаться к ним, а тем более садиться — категорически запрещено, и вот мы полдня бесцельно слоняемся по узкому проходу, продолжая

* Заключенный, обычно из уголовников, на которого лагерная администрация возлагала обязанности по надзору за другими заключенными. Этимология слова спорная: либо от нем. [K]amerad (товарищ) [P]olizei (полиция), либо от фр. [caporal] (капрал).

мучиться безумной жадью, которую нам так и не пришлось утолить с момента прибытия. В какой-то момент открывается дверь, и появляется молодой человек в полосатой одежде, довольно интеллигентного вида, маленький, худой, светловолосый. Выясняется, что он говорит по-французски, и мы, перебивая друг друга, обрушиваем на него все вопросы, которые до этого задавали друг другу, не получая, естественно, ответов.

Но он не очень-то разговорчив. Здесь все не очень разговорчивы. Действительно, мы ведь новенькие, у нас ничего нет, мы ничего не знаем, какой смысл с нами попусту время терять? Однако он хоть и с неохотой, но объясняет, что все на работе и вернутся только вечером, а он ходил утром в санчасть и на сегодня от работы освобожден. Я спросил его (с наивностью, которая мне самому уже через несколько дней казалась невероятной), вернут ли нам, по крайней мере, наши зубные щетки. Он не засмеялся, нет, но на его лице отразилось глубокое презрение, и он мне бросил:

— Vous n'êtes pas à la maison.

Потом эти слова нам будут повторять все, они будут звучать постоянным рефреном: вы здесь не у себя дома, это вам не санаторий, отсюда одна дорога — через трубу (что это значит — мы хорошо поняли позднее).

Между тем, умирая от жажды, я замечаю за окном на расстоянии вытянутой руки великолепную сосульку, но только успеваю открыть окно и отломить ее, как, откуда ни возьмись, передо мной вырастает высокий крепкий немец и грубо вырывает у меня сосульку.

— Warum? — только и могу спросить я на своем плохом немецком.

— Hier ist kein Warum (здесь никаких почему), — отвечает он и кулаком отбрасывает меня внутрь барака.

Гадко, зато доходчиво. Теперь я знаю: здесь запрещено все. И не из каких-то неведомых нам соображений, а потому, что лагерь для того и создан, чтобы все запрещать. Если мы хотим выжить, то должны запомнить раз и навсегда:

Здесь для тебя иконы нет святой!
Не в Серкио тебя нырять послали...*

Проходит час за часом, и наш первый и такой длинный день в преддверье ада приближается к концу. Когда солнце опускается в ворох зловещих кровавых облаков, нас выводят из барака. Неужели дадут наконец пить? Нет, снова велют встать в затылок, ведут на широкую площадь в центре лагеря, строят там. Стоим час, ничего не происходит, похоже, кого-то ждем.

От ворот лагеря слышится музыка: духовой оркестр играет известную сентиментальную песенку «Розамунда». Это настолько странно, что мы удивленно переглядываемся и ухмыляемся, даже слегка расслабляемся: может, все эти многочисленные ритуалы — часть какого-то грандиозного комического представления в тевтонском духе? Оркестр между тем, закончив «Розамунду», переходит к другим маршевым мелодиям и играет без остановки, а в ворота входят первые колонны наших товарищей, возвращающихся с работы. Они маршируют по пять человек в ряд, не сбиваясь с заданного оркестром ритма, но как-то неестественно, странным, механическим шагом, словно они на шарнирах, словно они куклы, а не люди.

Их, как и нас, тоже тщательно строят на площади, и, когда через ворота проходит последняя колонна, всех начинают считать и пересчитывать, и это продолжается больше часа. Капо долго сверяют цифры, передают результаты своих подсчетов кому-то в полосатой

* Данте, «Божественная Комедия», Ад, XXI, 48 — 49. Перев. В. А. Петрова.

одежде, а тот уже отчитывается перед небольшой группой вооруженных до зубов эсэсовцев.

Наконец-то (уже темно, но лагерь ярко освещен фонарями и прожекторами) разносится команда: «Absprege!» — «Разойдись!» — и сразу же ровные ряды смешиваются, начинается беспорядочное движение. От прежней выправки ни у кого не остается и следа, многие с трудом передвигают ноги. Я замечаю, что у каждого в руках или на поясе большой оловянный котелок.

Мы, новички, тоже смешиваемся с толпой, чтобы услышать человеческое слово, поймать дружеский взгляд, хоть что-то узнать. У стены деревянного барака сидят на земле два паренька, от силы лет шестнадцати, у обоих черные от копоти руки и лица. Когда мы проходим мимо, один из них меня окликает и что-то мне говорит по-немецки, но я не понимаю. Тогда он спрашивает, откуда мы.

— Italien, — отвечаю я.

Мне и самому о многом хочется у него узнать, но мой запас немецких слов слишком мал. Спрашиваю:

— Ты еврей?

— Да, польский еврей.

— Сколько ты здесь?

— Три года. — Он показывает три пальца.

Получается, с ужасом думаю я, что он попал сюда совсем ребенком, но, с другой стороны, кто-то здесь, значит, все-таки выживает.

— Какая у тебя работа?

— Schlosser, — отвечает он, но я не понимаю. — Eisen, Feuer (железо, огонь), — объясняет он и начинает махать руками, точно бьет молотом по наковальне.

Понял, он кузнец.

— Я химик, — представляюсь я, и он с уважением кивает:

— Chemiker gut.

Но об этом можно и потом поговорить, а сейчас я нестерпимо хочу пить.

— Вода, пить. Мы нет воды.

Он смотрит на меня серьезно, почти строго и, делая ударение на каждом слове, произносит:

— Пить вода нельзя, товарищ, — и добавляет еще что-то, чего я не понимаю.

— Warum?

— Geschwollen, — следует незамедлительный ответ.

Я качаю головой, не понимаю, мол, тогда он надувает щеки, чертит в воздухе огромное лицо, вздувшийся живот. Значит, geschwollen — это пухнуть.

— Warten bis heute abend — ждать до сегодня вечер, — слово за слово перевожу себе я.

Потом он говорит:

— Ich Schlome. Du?

Называю свое имя, и он спрашивает, где моя мать. Когда говорю, что в Италии, Шлойме удивляется: как это — еврейка в Италии?

— Да, — объясняю ему в меру своих возможностей, — спрятана, никто не знает, исчезать, никому не сказать, никто не видеть.

Наконец он понял, встает, подходит и смущенно обнимает меня. Разговор окончен, я чувствую умиление, почти радость. Больше я Шлойме не видел, но мне никогда не забыть серьезного и кроткого лица этого мальчика, встретившего меня на пороге мертвого дома.

Многому нам еще предстоит научиться, но кое-что мы уже усвоили. Например, у нас есть некоторое представление о топографии лагеря. Его территория — квадрат со стороной около шестисот метров, огороженный по всему периметру двумя рядами колючей проволоки, причем внутренний ряд постоянно находится под высоким напряжением. На территории шестьдесят деревянных бараков, или, как их здесь называют, блоков, десять из которых еще не достроены. Есть каменное здание кухни, душевые и сортиры (на шесть — восемь бараков по одной душевой и одному сортиру), сельскохозяйственная экспериментальная ферма, где работает

команда привилегированных заключенных. Помимо этого имеется несколько блоков особого назначения: в первую очередь сюда относятся санчасть с больницей и амбулаторией, которая занимает восемь барачков на восточном краю лагеря, двадцать четвертый блок (Krätzeblock), отведенный под изолятор для чесоточных, седьмой блок, куда никто из простых хефтлингов никогда не входил и где живет лагерная аристократия, придурки*, т.е. заключенные, занимающие высокие должности.

Сорок седьмой блок только для Reichsdeutsche — чистокровных арийцев из рейха, политических и уголовников; сорок девятый — только для капо, половина двенадцатого блока, находящегося в распоряжении немцев из рейха и капо, отведена под каптерку, где распределяют табак, дезинсекционные порошки и время от времени еще кое-что. Тридцать седьмой блок — штабной, его делят канцелярия и нарядчики, и наконец двадцать девятый, где всегда наглухо закрыты окна, — женский; это лагерный бордель для немцев из рейха, которых обслуживают здесь молоденькие польские девушки-заключенные.

Общие бараки внутри разделены на два отсека — дневной и спальня. В дневном (он называется Tagesraum) живет блочный староста со своей свитой.

Там стоят стол, стулья и лавки; там рябит в глазах от фотографий, журнальных вырезок, рисунков, искусственных цветов, безделушек. На стенах большие плакаты с лозунгами и стишками, призывающими

* В книге «Канувшие и спасенные» (1986) П. Леви писал: «Общим для всех лагерей был термин *Muselmann*, которым называли окончательно ослабевшего, обреченного на смерть заключенного... Этому определению полностью соответствует столь же безжалостно-ироничный русский термин *доходяга*. Общим был и термин *Prominent*, применяемый во всех лагерных жаргонах к тем, кто добился привилегированного положения. Такие заключенные существовали и в советских лагерях, где их называли придурками».

крепить дисциплину, соблюдать порядок и личную гигиену. В углу застекленный шкафчик, где Blockfrisör (штатный парикмахер) хранит свои инструменты, где висят половники для разливания супа и две дубинки, одна из литой резины, а другая полая, как раз для того и предназначенные, чтобы эту самую дисциплину крепить. Во втором отсеке только нары, разделенные тремя проходами. Сто сорок восемь нар в три яруса, под самый потолок, чтобы не пропал ни один сантиметр пространства, тесные, точно пчелиные соты. Здесь обитают простые хефтлинги, хефтлинги-работяги. В каждом бараке их не меньше двухсот, а то и двухсот пятидесяти, поэтому в основном спят по двое на одних нарах, представляющих собой настил из прогибающихся досок с тонким соломенным матрацем и двумя одеялами. Проходы настолько узки, что два человека в них расходятся с трудом; площадь пола так мала, что все обитатели блока не могут одновременно стоять, половина по крайней мере должна лежать на нарах. Отсюда запрет заходить в чужие блоки.

В центре лагеря — Appellplatz, широченная площадь для переключек, где по утрам всех строят в колонны для развода на работу, а вечером пересчитывают. Чуть дальше — клочок аккуратно постриженного газона, на который в случае надобности устанавливается виселица.

Обитатели лагеря делятся на три категории — на уголовников, политических и евреев. Все носят одинаковую полосатую одежду, все — хефтлинги, только у уголовников на куртке рядом с номером зеленый треугольник, у политических — красный, а евреи, которых подавляющее большинство, отмечены еврейской желто-красной звездой. Заправляют всем, конечно, эсэсовцы, но их мало, и в лагере они появляются ненадолго. Наши подлинные начальники — зеленые треугольники, они творят, что хотят. И еще те из двух

других категорий, кто добровольно становится их подручными, а таких совсем немало.

Мы научились, кто раньше, кто позже, в зависимости от способностей, отвечать начальству «Jawohl» — «Слушаюсь», ни о чем не спрашивать и всегда делать вид, что все поняли. Мы узнали цену еде и, как все, старательно выскребали наши котелки после съеденного супа, а когда откусывали кусок хлеба, обязательно подставляли под подбородок котелок, чтобы ни одна крошка не пропала. Мы убедились, что суп, зачерпнутый с верха и со дна бачка — две большие разницы, поэтому очень скоро уже могли безошибочно рассчитать, когда, в зависимости от объема бачка (а они все были разные), выгоднее всего занимать очередь.

Мы узнали, что ненужных вещей не бывает: железная проволока вполне заменяет шнурки, тряпками можно обмотать ноги, бумагой — утеплить тело, засунув ее (незаметно) под куртку. Мы узнали, что кража в лагере — обычное дело, воруют всё, что плохо лежит, поэтому научились перед сном заворачивать в куртку свое имущество — от котелка до башмаков, и этот тюк нам заменял подушку.

Постигали мы постепенно и фантастически сложные лагерные инструкции. Чего только стоило запомнить бесчисленные запреты: нельзя ближе чем на два метра подходить к колючей проволоке, нельзя спать в куртке, в головном уборе, без трусов, нельзя пользоваться умывальнями и сортирами «Nur für Karos» (только для капо) и «Nur für Reichsdeutsche» (только для немцев из рейха), нельзя не ходить в душ в предписанные дни и ходить в непредписанные, выходить из блока, не застегнувшись на все пуговицы и с поднятым воротником, подкладывать под одежду бумагу или солому для утепления, умываться, не раздевшись по пояс.

Таких бессмысленных инструкций и требований бессчетное множество: каждое утро нужно «стелить по-

стель», то есть разравнивать матрац и разглаживать одеяло, чтобы не было ни одной морщинки; смазывать заляпанные грязью башмаки на деревянной подошве солидолом, изготовленным специально для этой цели старостой блока; удалять с одежды пятна (пятна масляной краски, жира и ржавчины допускаются); каждый вечер нужно проверяться на вшивость и чистоту ног, по субботам бриться и стричься у блочного парикмахера, штопать или отдавать в штопку порвавшееся тряпье; а по воскресеньям проходить всеобщий контроль на чесотку и наличие пуговиц, которых положено иметь пять.

Мало этого, есть масса обстоятельств, которые в обычной жизни мы считаем мелочами, но здесь, в лагере, они превращаются в серьезные проблемы. Когда отрастают ногти, их надо стричь, но стричь нечем, приходится обгрызать (ногти на ногах сами стираются в жестких башмаках); если отвалилась пуговица — ее надо пришить, а для этого есть только проволока; если идешь в сортир или умывальню, обязательно бери с собой все, и, когда закрываешь глаза, чтобы умыться лицо, сверток со всем хозяйством крепко зажми между ног, иначе не успеешь оглянуться, его у тебя уведут. Если тесен башмак, вечером следует явиться на церемонию обмена обуви, и тут все зависит от личного опыта. Бросив взгляд на кучу перемешанной (непарной!) обуви, нужно определить на глаз, какой из башмаков подойдет, потому что у каждого хефтлинга есть право всего на одну попытку: повторные обмена запрещены.

Если кто-то полагает, что обувь в лагерной жизни имеет второстепенное значение, тот глубоко ошибается: смерть начинается с обуви. Для большинства из нас башмаки становятся настоящим орудием пытки. Всего за несколько часов ходьбы можно в кровь сбить себе ноги, раны загноятся, начнется заражение крови. Тот, кому обувь трет, передвигает ноги с трудом, точно к ним привязаны гири (вот откуда этот деревян-

ный шаг у войска призраков, выходящего на ежевечерний парад!), всегда и везде поспевает последним, всегда и везде получает тумаки и ни увернуться, ни убежать от нападающего не в состоянии. Чем больше распухают израненные ноги, тем теснее они соприкасаются с деревом и грубой материей башмаков, доставляя невыносимые муки. Тогда остается последнее — санчасть, но явиться в санчасть с жалобой на dicke Füße (распухшие ноги) чрезвычайно опасно, потому что всем известно, особенно эсэсовцам, что эту болезнь уже не вылечить.

И кроме всего прочего мы еще работаем, а на работе свои проблемы, свои запреты и требования.

Работают все, кроме больных (объявить себя больным — тоже целая наука, она требует специальных знаний и опыта). Каждое утро мы строем идем из лагеря в Буну, каждый вечер из Буны строем возвращаемся в лагерь. В рабочих целях мы разбиты примерно на двести команд от пятнадцати до ста пятидесяти человек в каждой. Возглавляет команду капо. Команды бывают хорошие и плохие. К плохим относятся в первую очередь транспортные команды, в которых работать очень тяжело, особенно зимой, потому что все время под открытым небом. Есть команды специалистов (электриков, кузнецов, каменщиков, сварщиков, механиков, бетонщиков и т.д.), каждая приписана к какому-то цеху или отделу Буны и напрямую подчиняется вольнонаемному мастеру, обычно немцу или поляку, но только, разумеется, в рабочие часы, в остальное же время специалисты (их в общей сложности не больше трех-четырёх сотен) не имеют никаких преимуществ перед обычными работягами. Распределением людей по командам занимается в лагере особая служба, Arbeitsdienst, которая находится в постоянном контакте с гражданской дирекцией Буны. По каким мотивам Arbeitsdienst принимает то или иное решение — понять нелегко, но скорее всего, по личным или корыстным. Тот, например, кто способен раздобывать про-

дукты, всегда имеет шанс получить теплое местечко в Буне.

Продолжительность рабочей смены в разное время года разная, она зависит от долготы светового дня, поэтому зимой мы работаем, как минимум, с восьми до двенадцати и с двенадцати тридцати до шестнадцати, а летом — с шести тридцати до двенадцати и с тринадцати до восемнадцати.

Ни при каких обстоятельствах хефтлинги не имеют права находиться на работе в темные часы или во время густого тумана: темнота и туман могут благоприятствовать осуществлению побега; однако работать в дождь, в снег, при сильных ветрах, которые часто дуют с Карпатских гор, никому не возбраняется.

Каждое второе воскресенье — обычно рабочее, а в так называемые свободные воскресенья все равно заставляют работать если не в Буне, то на территории лагеря, поэтому выходные дни в прямом смысле слова выпадают очень и очень редко.

Такова наша жизнь. Каждый день по заведенному порядку «ausgücken» и «eingücken» — «выступать» из лагеря и «вступать» в лагерь, работать, есть, спать, болеть, поправляться или умирать.

До каких пор? Старожилы смеются, когда их спрашивают, такой вопрос выдает новичка. Смеются и не отвечают. Тем, кто здесь уже не один месяц или даже не один год, далекое будущее время представляется расплывчатым, окутанным мраком; конкретные, насущные проблемы ближайшего будущего куда важнее: сколько удастся сегодня съесть, пойдет или не пойдет снег, пошлют или не пошлют разгружать уголь.

Если бы мы способны были рассуждать здраво, то согласились бы с тем, что наша судьба нам совершенно неизвестна, а значит, и любые предположения на ее счет бессмысленны и лишены каких бы то ни было ос-

нований. Однако люди редко умеют рассуждать здраво, когда на карту поставлена их собственная жизнь; обычно их бросает, в зависимости от склада характера, в ту или другую крайность. Так, некоторые среди нас были твердо убеждены, что все потеряно, мы не выживем, конец один для всех и ждать его недолго. Другие, наоборот, считали, что, как бы ни было трудно все это пережить, спасение придет, оно не за горами, и если не расслабляться и не терять веры, то мы вернемся домой, к близким. Между пессимистами и оптимистами, несмотря на полярность их позиций, не такая уж большая разница. И дело не в том, что агностики вообще многочисленны, а в том, что многие люди из-за короткой памяти и непоследовательности суждений колеблются между двумя крайними позициями, меняя свое мнение в зависимости от оппонента в споре или от ситуации.

Вот и я на дне. Когда нужда заставит, можно разом вычеркнуть свое прошлое и будущее. Уже через пятнадцать дней я испытывал постоянный, хронический голод, незнакомый тем, кто живет на воле; голод, о котором не забываешь даже во сне, который сидит в каждой клетке твоего тела. Я уже не позволял себя обворовывать и, в свою очередь, если находил бесхозную ложку, веревку или пуговицу, со спокойной совестью клал их себе в карман, убедившись, правда, что останусь безнаказанным. У меня на ногах образовались незаживающие раны. Я разгружал вагоны, копал землю, мок под дождем, дрожал на ветру. Мое тело больше не было моим, оно похудело, живот же, наоборот, вздулся; по утрам лицо было отечным, а к вечеру вваливались щеки. У одних из нас кожа пожелтела, у других — посерела. Если мы не виделись с кем-нибудь дня три-четыре, то при встрече с трудом узнавали друг друга.

Мы, итальянцы, договорились собираться каждое воскресенье в условленном месте, но скоро от этого отказались: слишком грустно было каждый раз кого-то недосчитываться, убеждаться, что нас становится все меньше, что мы худеем и слабеем день ото дня. Все больше сил приходилось тратить на то, чтобы добраться до места встречи, а встретившись, надо было вспоминать и думать, а этого в лагере лучше не делать.

ПРИБОЩЕНИЕ

После первых дней необъяснимых перемещений из блока в блок и из команды в команду, меня приводят наконец поздним вечером в тридцатый блок и определяют на место, где уже спит Дьена. Дьена просыпается, теснится к стенке, давая мне возможность лечь рядом, и, несмотря на то что его побеспокоили, ведет себя вполне дружелюбно.

Я не хочу спать, точнее сказать, не могу из-за пережитых волнений и постоянной тревоги, поэтому без остановки говорю.

Вопросов у меня много. Я голоден, но как есть суп, если нет ложки? Как и где ее раздобыть? Куда меня завтра отправят работать?

Дьена, естественно, знает не больше моего и отвечает на мои вопросы встречными вопросами. Вскоре сверху, снизу, справа, слева, из каждого угла, погруженного в темноту барака, раздаются сердитые заспанные голоса:

— Ruhe, Ruhe!

Я догадываюсь, что от нас с Дьеной требуют тишины, но слово для меня новое, и поскольку я не знаю его значения, то еще больше нервничаю. Лагерь — настоящий Вавилон; смешение языков — главная особенность здешней жизни: со всех сторон на тебя сыплются приказы и угрозы на незнакомых языках, и плохо твое дело, если ты не способен быстро сообразить, что к чему. Здесь никто не хочет тратить на тебя время, никто не хочет проявить терпение, никто тебя не слышит. Мы, новички, как овцы, жмемся к углам,

к стенам, чтобы хоть со спины чувствовать себя защищенными.

Вынужденный замолчать, я вскоре погружаюсь в безрадостный напряженный сон, который нельзя назвать отдыхом: мне угрожают, ко мне подступают, и я, заняв оборонительную позицию, готов в любую минуту отразить нападение. Мне снится, что я сплю на улице, на мосту, в дверях, через меня переступают люди, много людей. Но вот уже и подъем, как быстро! Загорается свет, барак начинает ходить ходуном, вокруг поднимается суeta: все в судорожной спешке встряхивают одеяла, поднимая тучи зловонной пыли, одеваются, выбегают полуодетыми на холод, торопясь в сортир и умывальню; многие, как животные, мочатся прямо на ходу для экономии времени, потому что через пять минут будут раздавать хлеб — хлеб-Brot-Broit-panepain-lechem-kenyé — священную серую пайку, которая кажется огромной в руках соседа и до слез маленькой в твоих собственных. От этих галлюцинаций со временем освобождаешься, а в начале они настолько невыносимы, что многие после долгих пререканий друг с другом о своем очевидном и бесспорном невезении и о завидном везении соседа в конце концов обмениваются кусками, после чего возникает обратная иллюзия, и каждый чувствует себя жестоко обманутым.

Хлеб — это и наши единственные деньги. В минуты, когда раздается и естся хлеб, в бараке поднимается шум: кто-то ругается, кто-то кого-то ищет, кто-то от кого-то убегает. Это вчерашние кредиторы, пользуясь коротким моментом платежеспособности своих должников, пытаются получить свое. Затем снова наступает относительное затишье, и многие вторично отправляются в сортир, чтобы затянуться там недокурной самокруткой, или идут в умывальню, чтобы помыться уже по-настоящему, а не для виду.

Умывальня — место не слишком привлекательное. Освещение там тусклое, гуляют сквозняки, кирпичный пол покрыт слоем грязи. Вода плохая, с неприятным

запахом, часто ее вообще не бывает по несколько часов. Стены украшают своеобразные картины воспитательного содержания. Вот, например, голый до пояса хороший хефтлинг. Он запечатлен в момент намыливания своей розовой, чисто выбритой головы. А вот хефтлинг плохой. Зеленоватого оттенка, с явно семитской формы носом, в запятнанной одежде и в шапке, он осторожно опускает один палец в раковину. Надпись под первым — «So bist du rein» (так ты чистым будешь), а под вторым — «So gehst du ein» (так себя погубишь). Чуть ниже лозунг на французском языке — сомнительного происхождения, зато готическими буквами: «La propreté, c'est la santé», утверждающий, что чистота — залог здоровья.

На противоположной стене красуются гигантская черно-красно-белая вошь, под которой написано: «Eine Laus, dein Tod» (вошь — твоя смерть), и вдохновенное двестишьё:

Nach dem Abort, vor dem Essen
Hände waschen, nicht vergessen

(После уборной, перед едой ты обязательно руки помой).

Первое время я воспринимал эти призывы к гигиене как проявление чисто тевтонского юмора, вроде той реплики насчет бандажа, которую бросил эсэсовец в день нашего прибытия, когда нам велели раздеться до гола. Но потом я понял, что неизвестные авторы, возможно сами того не подозревая, оказались не так уж далеки от очень важных истин. Бессмысленно мыться каждый день мутной вонючей водой над грязной раковиной ради чистоты и здоровья, но очень важно делать это, чтобы не опуститься; ежедневное мытье необходимо как средство поддержания в себе воли к жизни.

Должен признаться: уже через неделю лагерной жизни у меня полностью пропала потребность в чисто-

те. Однажды, бесцельно слоняясь по умывальне, я вижу, как мой пятидесятилетний друг Штайнлауф, раздевшись до пояса, склонился над раковиной и усиленно, хотя и безрезультатно (мыла-то нет!) трет себе плечи и шею. Меня он тоже замечает, здороваётся и сразу же строго спрашивает, почему я не моюсь. А почему я должен мыться? Я что, стану лучше, чем есть? Смогу кому-то понравиться? Проживу на день или на час больше? Наоборот, скорее меньше, потому что мытьё — тоже работа, лишний расход энергии и калорий. Разве Штайнлауф не знает, что, если полчаса потаскать мешки с углем, между ним и мной уже не будет никакой разницы? Чем больше я об этом думаю, тем больше убеждаюсь, что умываться в нашем положении глупо, просто несерьёзно, ведь это всего лишь автоматическая привычка, хуже того, скорбные поминки по усопшему обряду. Все равно мы умрем, уже начали умирать. Если у меня утром до работы есть десять свободных минут, лучше я займусь чем-нибудь другим: побуду наедине с самим собой, подведу жизненные итоги, посмотрю на небо, может быть, я в последний раз его вижу, да просто *поживу*, в конце концов, понаслаждаюсь этой десятиминутной праздностью.

Но Штайнлауф перебивает меня. Он уже помылся и теперь вытирается курткой, которую во время мытья крепко сжимал коленями. Не прерывая своего занятия, он читает мне самую настоящую лекцию.

Жаль, что она не полностью сохранилась в моей памяти, и я не могу вспомнить всех четко и ясно произнесенных слов бывшего сержанта австро-венгерской армии Штайнлауфа, награжденного в Первую мировую войну железным крестом; жаль, что убежденную речь доброго вояки на не слишком уверенном итальянском я передаю здесь на своем языке — языке неверующего. Но смысл сказанного я запомнил хорошо и могу за него поручиться, он в следующем: именно потому, что лагерь — это гигантская машина, фабрикующая животных, в животных мы превратиться не должны. И в та-

ком месте можно выжить, нужно стремиться выжить, чтобы потом рассказывать, свидетельствовать; а выжить нельзя, если не постараться всеми силами сохранить хотя бы признаки цивилизованности, спасти хотя бы ее костяк, остов. Пусть мы рабы, бесправные и беззащитные, пусть приговорены к смерти, избежать которую, скорее всего, не удастся, но, пока мы еще живы, одна возможность у нас есть, и мы должны сделать все, чтобы не упустить ее, потому что она — последняя. Возможность эта — не смиряться с нашим положением. Вот почему мы обязаны умываться, пусть даже и без мыла, вонючей водой, вытираться курткой вместо полотенца, ваксить башмаки. Не из страха нарушить инструкцию, а ради собственного достоинства, ради самих себя. Мы обязаны ходить ровной походкой даже в деревянных колодках не потому, что готовы подчиняться прусской дисциплине, а чтобы остаться живыми, не начать умирать.

Вот что я услышал от хорошего человека Штайнлауфа. Для моего уха все эти вещи звучали непривычно, странно, я понимал и принимал их лишь частично, лишь в той мере, в какой они перекликались с более мягкими, удобными и гибкими законами, по которым уже много веков живут люди по эту сторону Альп, в Италии, и где, между прочим, считается, что нет более бессмысленного занятия, чем перенимать моральные принципы, созданные другими, под другим небом. Что ж, пусть для Штайнлауфа его доводы разумны и бесспорны, меня же они не убеждают. Перед лицом этого сложно устроенного ада я растерялся: что лучше — следовать своим собственным моральным принципам или вообще отказаться от всяких принципов?

КА-БЭ

Все дни похожи один на другой, им трудно вести счет. Уже и не вспомнить, сколько времени мы с напарником, как заведенные, делаем одно и то же: ходим от железной дороги к складу, от склада к железной дороге, сто метров по грязи туда, сто обратно, в одну сторону — с грузом, в другую — без, не чувствуя рук, не в силах пошевелить языком.

Здесь всё против нас: злые облака в небе закрывают от нас солнце, со всех сторон слышится лязг железа, мерзкая колючая проволока отделяет нас от остального мира. А на платформах, на дорогах, в маневрирующих составах, котлованах, конторах — люди, люди-рабы и люди-хозяева, причем хозяева тоже рабы. Страх руководит одними, ненависть другими, остальные чувства молчат. Здесь человек человеку враг или конкурент.

Нет, мой напарник, с которым мы сегодня под одним ярмом, мне не враг и не конкурент.

Он Null Achtzehn, Ноль Восемнадцать, так его все называют. Три последние цифры личного регистрационного номера. Здесь считается, что только человек достоин имени, а Ноль Восемнадцать не человек, значит, и имя ему не положено. Скорее всего, он и сам уже не помнит, как его раньше звали, откликается на цифры, словно это в порядке вещей. Когда он говорит или смотрит, кажется, что от него только оболочка осталась, а внутри — ничего; он похож на засохших насе-

комых, которых я находил среди камней на берегу пруда: зацепившись за былинку или запутавшись в паутине, они шевелятся, словно живые, от малейшего дуновения ветра.

Ноль Восемнадцать очень молод, поэтому шансов у него мало. И дело не только в том, что молодежь тяжелее взрослых переносит изнурение и голод; чтобы здесь выжить, надо быть против всех, надо научиться бороться в одиночку, а это молодым редко удается. Никакой антипатии Ноль Восемнадцать не вызывает, однако работать с ним в паре все отказываются. Он до такой степени ко всему безразличен, что даже не делает попытки сбросить на работе силы, уклониться от побоев, разжиться едой. Все, что от него требуют, он выполняет беспрекословно, и кажется, если завтра его приговорят к смерти, он отправится умирать с тем же невозмутимым безразличием.

Даже у ломовой лошади есть инстинкт самосохранения, он заставляет ее остановиться прежде, чем она окончательно выдохнется; а Ноль Восемнадцать будет идти, тянуть, тащить из последних сил, пока не рухнет, и даже слова не проронит, даже не поднимет от земли своих потухших глаз. Он напоминает мне ездовых собак из книг Джека Лондона: они бегут до последнего вздоха и умирают прямо в упряжке.

Тут все уже научились не выкладываться, работать, что называется, спустя рукава. Все, но только не Ноль Восемнадцать, оттого с ним и не хотят работать: ведь такой напарник неудобен, даже опасен. Со мной тоже не хотят работать, потому что я слабый и неопытный, вот и получается, что мы с ним частенько оказываемся в паре.

Когда мы, освободившись от груза, тащимся в очередной раз от склада к путям, раздается короткий резкий свисток локомотива, и дорогу нам перерезает проходящий состав. Довольные непредвиденной поддержкой, мы стоим и смотрим на медленно движущиеся перед нашими глазами вагоны.

Deutsche Reichsbahn, Deutsche Reichsbahn, SNCF, два огромных русских вагона с плохо замазанными серпом и молотом, опять Deutsche Reichsbahn. Надписи: лошадей 8, людей 40, тара, грузоподъемность... Итальянский вагон... Забраться бы в него незаметно, зарыться в уголь, не шевелиться, почти не дышать и слушать в темноте непрерывный стук колес, который заставляет забыть об усталости, заглушает голод. А через какое-то время поезд остановится, потянет теплым воздухом, запахнет сеном, и я выйду из вагона, на солнце, упаду на землю, буду ее целовать или, как пишут в книгах, зарююсь лицом в траву. И подойдет женщина, и по-итальянски спросит: «Ты кто?» Я отвечу, тоже по-итальянски, и она даст мне поесть, и уложит спать. Сначала она не поверит тому, что я ей буду рассказывать, но, когда я покажу ей номер на руке, поверит...

Последний вагон проехал; перед моими глазами, как на открывшейся сцене, возвышается штабель чугунных суппортов, на верху штабеля стоит капо с палкой в руке, изможденные люди по двое подходят к штабелю и отходят, неся на плечах суппорты.

Лучше не мечтать, потому что потом невыносимо тяжело. Впрочем, мечты наши редки и мимолетны, ведь мы — изнуренная работой скотина, только и всего.

Подходим и мы к штабелю. Миша и Галичанин, кряхтя и ругаясь, поднимают суппорт и кладут его нам на плечи. У них работа не слишком тяжелая, и, чтобы не лишиться ее, они демонстрируют максимум усердия: торопят тех, кто замешкался, стыдят за лень, подгоняют, задают всем невыносимый ритм. Меня это возмущает, но таков порядок вещей: привилегированные понукают непривилегированными, на этом законе строится социальная структура лагеря.

Теперь первым иду я. Суппорт тяжелый и, главное, очень короткий, поэтому при каждом шаге Ноль Восемнадцать едва не наступает мне на пятки. Он то ли не умеет, то ли не старается идти в ногу.

Считаю шаги. Двадцать, поднялись на платформу, не споткнуться бы о кабель, суппорт лежит на плече неудобно, соскальзывает, пятьдесят, шестьдесят, дверь склада, полпути прошли, еще шестьдесят шагов — и будем на месте. Все, больше не могу, тяжесть нестерпимая, рука отваливается, я кричу, чтобы Ноль Восемнадцать остановился, пытаюсь обернуться, но в ту же секунду спотыкаюсь и падаю.

Будь я половчее, я бы отскочил в сторону, но мне не везет: чугунная чушка задевает подъем левой ноги и я, ослепленный болью, катаюсь по земле, сжав обеими руками ушибленное место.

Когда боль немного отступает и я снова прихожу в себя, то вижу, что Ноль Восемнадцать неподвижно и молча стоит с опущенными руками, глядя на меня безучастным взглядом. Приходят Миша с Галичанином; поговорив между собой на идише, они дают мне какие-то советы. Приходят Темплер, Давид и все остальные, благо подвернулся повод прервать работу. Наконец, появляется капо и, раздавая направо и налево тумачи, разгоняет зевак. Всех как ветром сдуло, только Ноль Восемнадцать продолжает стоять на прежнем месте и, проведя рукой по разбитому носу, внимательно рассматривает окровавленную ладонь. Мне от капо досталась всего пара пощечин, да я и не почувствовал их из-за боли в ноге.

Инцидент исчерпан. С большим трудом, но я все же поднимаюсь на ноги, значит, кость цела, мне повезло. Разуться не решаюсь, боюсь, будет очень больно, а, кроме того, я знаю, что нога распухнет и тогда ее в башмак уже не всунуть.

Капо велит мне идти на штабель вместо Галичанина. Тот бросает на меня свирепый взгляд, но ничего не поделаешь, придется и ему теперь потаскать суппорты,

правда, недолго: английские военнопленные уже двинулись к лагерю, значит, скоро конец работе.

Я стараюсь изо всех сил шагать в ногу, но у меня это плохо получается. Капо распоряжается: когда будем проходить мимо поста СС, пусть Ноль Восемнадцать и Финдер меня поддерживают. Наконец (к счастью, сегодня нет переключки) я в бараке, падаю на нары и перевожу дух.

То ли от тепла, то ли оттого, что натрудил ногу при ходьбе, но она снова заболела и как будто мокрая. Снимаю башмак — он полон крови, уже загустевшей и смешанной с грязью; промокла и портянка, которую я нашел месяц назад и наматывал день на правую, день на левую ногу.

Сегодня вечером, сразу же после супа, пойду в Ка-бэ.

Ка-бэ — это аббревиатура, а полностью Krankenbau, санчасть. Санчасть занимает восемь барачков, точно таких же, как и все бараки, но отделена от остальной территории лагеря колючей проволокой. Постоянно в санчасти находится одна десятая всего населения лагеря, но мало кто задерживается здесь больше двух недель и уж совсем никто больше двух месяцев. Два месяца — предельный срок: если за это время ты не пошел на поправку, тебя из Ка-бэ отправят в газовую камеру, а если твой организм справляется с болезнью, в санчасти тебя подлечат. И все потому, что мы, на наше счастье, относимся к категории «экономически полезных» евреев.

В Ка-бэ я еще никогда не бывал, даже в амбулатории, мне все здесь в новинку. Амбулаторий две: одна терапевтическая, другая хирургическая, перед входом на ветру, в темноте — две длинных очереди теней. Одним нужно только поменять повязку или получить таблетку, другие хотят попасть на прием, третьи уже отмечены печатью смерти. Те, что ближе к дверям, успели

разуться и ждут, когда их впустят; остальные, по мере того как подходит их очередь, прикидывают, когда пора начинать развязывать шнурки (если повезло их иметь) или раскручивать проволоку на башмаках, когда осторожно, чтобы не порвать, разматывать драгоценные портянки. Разуешься слишком рано — испачкаешь в грязи ноги, замешкаешься — вылетишь из очереди, потому что переступить порог Ка-бэ в обуви категорически запрещено. За соблюдением инструкции следит из будки, расположенной между входами в две амбулатории, огромный хефтлинг. Он француз, редкая птица среди придурков. Впрочем, не столь уж это и большая привилегия — стоять целый день возле кучи грязных стоптанных башмаков, особенно если задуматься о тех, кто в них пришел и кому при выходе отсюда они могут уже и не понадобиться.

К тому моменту, когда подходит моя очередь, мне каким-то чудом удается снять башмаки, размотать, не порвав, портянки, не лишиться котелка и рукавиц, не потерять равновесия и не выронить зажатую в руке шапку, которую перед входом в барак снимать обязательно.

Оставляю у порога обувь, получаю что-то вроде талона и, хромая, прижав к себе свое нищенское имущество, с которым не расстаюсь ни при каких обстоятельствах, вхожу внутрь и встаю в новую очередь, на осмотр, за которой следит капо. Здесь уже надо, не мешкая, начинать раздеваться, потому что, когда санитар сунет тебе под мышку градусник, ты должен быть голым, а если на тебе осталась какая-то одежда — отправляйся снова в конец очереди. Температуру меряют всем, даже тем, у кого чесотка или зубная боль.

Расчет простой: если у тебя нет чего-то серьезного, ты не станешь попусту тратить время и подвергаться столь трудным испытаниям.

Наконец подходит и моя очередь. Санитар вынимает у меня из-под мышки градусник и сообщает:

— Nummer 174 517, kein Fieber (температуры нет).

Врачебный осмотр не требуется, поскольку я, как мне объявлено, Artztvormelder, но что это значит, не знаю и не спрашиваю: Ка-бэ не то место, где можно задавать вопросы. Меня отправляют обратно, я забираю у входа башмаки и возвращаюсь в барак.

Хаим меня поздравляет, говорит, рана хорошая, по виду совсем не опасная. Он уверяет, будто теперь я смогу немного отдохнуть. Artztvormelder, объясняет он, значит, что ночь я посплю вместе со всеми в бараке, а утром отправлюсь не на работу, а опять в Ка-бэ; там меня осмотрят врачи и тогда уже вынесут окончательное решение. Хаим в таких вещах разбирается, я верю ему безоговорочно. Хаим — мой товарищ по нарам, чуть старше меня, польский еврей, очень набожный, большой знаток Торы. По профессии он часовщик, а здесь в Буне занимается тонкой механикой. Один из тех редких людей, которым сохранять достоинство и уверенность в себе помогает дело, сызмальства освоенная профессия. Он считает, что завтра меня, скорее всего, оставят в санчасти.

Все так и было, как сказал Хаим. После подъема и раздачи хлеба из моего блока вызвали меня и еще троих. Нас отвели в дальний угол площади для переключек, где уже стояла длинная очередь — Artztvormelder на сегодня. Ко мне подошел какой-то тип и забрал котелок, ложку, шапку и рукавицы. Вокруг смех: не знал разве, что надо было все спрятать или отдать кому-то на сохранение, а еще лучше — продать? Не знал, что в Ка-бэ с этим не пускают? Посмотрев на мой номер, качают головами: Большой номер, новичок, чего от него, дурака, ждать?

Потом нас пересчитали, потом прямо на улице велели раздеться и разуться, потом опять пересчитали, потом обрили щеки, голову и лобок, опять пересчитали, потом повели в душ, потом появился ээсовец, обошел всех с равнодушным видом и отделил наиболее отечных, потом нас еще раз пересчитали и повторно

отправили в душ, хотя мы еще и после первого душа не обсохли, а некоторых бил озноб.

Теперь мы полностью подготовлены к осмотру. За окном белое небо, время от времени проглядывает солнце. В этой стране на него можно смотреть, не жмурясь: постоянная облачность защищает глаз, как закопченное стекло. Судя по положению солнца, сейчас уже больше двух, значит, прощай, суп! Мы уже десять часов на ногах, а голые — шесть.

Второй медицинский осмотр столь же молниеносен, как первый. Врач (в полосатом, как и мы, только номер у него на белом халате, который надет сверху, и сам он в теле, с нами не сравнить) осматривает мою распухшую раненую ногу и мнет ее с такой силой что я кричу от боли. Потом произносит:

— Aufgenommen, Block 23.

Я стою, раскрыв рот от удивления, жду более внятных разъяснений, но меня уже грубо куда-то тащат, набрасывают на голую спину накидку, суют шлепанцы и гонят на улицу: двадцать третий блок находится метрах в ста.

Над входом написано: Schonungsblock. Что это может значить? Внутри с меня сдергивают накидку, отбирают шлепанцы. Снова голый, я становлюсь в очередь за другими голыми скелетами — теми, кто назначен сегодня на госпитализацию.

Я уже давно не пытаюсь понять, а сейчас и подавно. У меня так болит раненая нога, я так устал стоять, так проголодался и промерз, что мне уже все равно. Даже если бы сегодняшней день был последним в моей жизни, если бы это помещение оказалось газовой камерой, о которой все говорят, разве в моих силах что-то изменить? Остается подпереть стену, закрыть глаза и ждать.

Рядом со мной стоит явно не еврей. Он необрезанный, с очень светлой кожей, грубыми чертами лица, массивного телосложения. Хоть я еще мало чему научился в лагере, но отличить по этим признакам поля-

ка от еврея могу. Он выше меня на целую голову, и физиономия у него вполне добродушная, это говорит о том, что от голода он не страдает.

Я спрашиваю его, не знает ли он, когда нас впускают в больничный барак. Он, не отвечая, будто меня нет рядом, поворачивается к санитару, который курит в углу, точно такому же светлокожему здоровяку, как и он, говорит ему что-то, оба смеются, потом один из них берет мою руку, смотрит на номер, после чего их смех становится еще громче. Любой знает, что сто семьдесят четыре тысячи — это итальянские евреи, известные на весь лагерь итальянские евреи, прибывшие два месяца назад (их было около сотни, а осталось не больше сорока), сплошь доктора, сплошь адвокаты, работать не умеют, позволяют воровать у себя хлеб, с утра до ночи получают подзатыльники, немцы называют их «zwei linke Hände» (две левые руки), и даже польские евреи их презирают за то, что они не знают идиша.

Санитар показывает второму на мои ребра, на мои отечные веки и щеки, на худую шею, будто я труп на анатомическом столе, потом наклоняется, надавливает пальцем мне на ляжку и демонстрирует приятелю глубокую вмятину, которую палец, точно в воске, оставил на бескровном теле.

И кто меня тянул за язык обратиться с вопросом к этому поляку! Никогда еще я не испытывал такого чудовищного унижения.

Санитар, закончив тем временем демонстрацию с пояснениями на своем родном и, на мой слух, чудовищном языке, снизошел наконец до меня и сочувственно подытожил как бы по-немецки:

— Du Jude kaputt. Du schnell Krematorium fertig (Ты еврей капут. Ты скоро готов крематорий).

Прошло еще несколько часов, прежде чем направленным на госпитализацию выдали рубашки и заполнили на каждого медицинскую карту. Я, как всегда, оказал-

ся последним. Какой-то тип в лагерной, но новенькой, с яркими полосами, одежде стал допытываться, где я родился, чем занимался «на воле», есть ли дети, какими болезнями болел, — одним словом, задал мне кучу вопросов, в которых нет ни малейшего смысла, какая-то изошренная форма издевательства. Целый день не дают присесть, держат голым, задают вопросы, и это называется больница!

В конце концов и передо мной открывается заветная дверь в лечебный барак. И здесь, как в любом бараке, все те же трехъярусные нары, разделенные двумя узкими проходами. На сто пятьдесят мест двести пятьдесят больных, таким образом, почти на каждом нарах по двое. Те, кто на верхнем ярусе, под потолком, могут только лежать; они свешивают вниз головы и с любопытством рассматривают поступивших. Это самое интересное событие за целый день, обязательно увидишь кого-то из знакомых. У меня нары № 10. О чудо, они не заняты! С наслаждением растягиваюсь на них, ведь за все время, что я в лагере, мне впервые удастся поспать одному. И хотя я нестерпимо хочу есть, через десять минут уже проваливаюсь в сон.

Ка-бэ — это лимб, круг первый. Особых физических мучений здесь не испытываешь, если не считать голода и страданий, доставляемых самой болезнью. Здесь не мерзнешь, не работаешь, не получаешь подзатыльников, если, конечно, сам на них не нарвешься.

У больных, как и у здоровых, подъем в четыре. Надо постелить постель и умыться, но все это без особой спешки, без напряжения. В пять тридцать раздача хлеба, его можно нарезать тонкими ломтиками и, не торопясь, с наслаждением есть лежа. Потом можно опять спать, до самого полудня, пока не принесут суп. После супа и примерно до шестнадцати часов — мертвый час, послеобеденный отдых. В эти же часы врачебный обход и процедуры: нужно подняться с нар, снять рубаш-

ку и встать в очередь к врачу. После вечерней еды, которую тоже «подают в постель», в двадцать один ноль-ноль тушат свет (остается только лампочка у ночного дежурного), и воцаряется тишина.

Впервые с тех пор, как я в лагере, мой сон крепок; сигнал подъема будит меня, возвращает из глубокого небытия. Во время раздачи хлеба вдалеке, за темными окнами слабо слышны первые звуки духового оркестра: это наши здоровые товарищи отправляются строем на работу.

Слуха достигают лишь глухие ритмичные удары большого барабана и литавр, а мелодии разобрать трудно, они доносятся с интервалами, обрывочно, в зависимости от направления ветра. Лежа на нарах, мы переглядываемся, нам хорошо знакома эта адская музыка.

Репертуар оркестра небогат: изо дня в день дюжина одних и тех же маршевых песен, дорогих сердцу каждого немца.

Они накрепко вбиты в наше сознание; забывая лагерь, их мы забудем в последнюю очередь, ведь эти мелодии — голос лагеря, чувственный образ его математически выверенного безумия, эмоциональное выражение определенной идеи, смысл которой — сначала убить в нас все человеческое, чтобы потом проще было убивать физически.

Когда мы слышим эту музыку, то знаем, что где-то во мраке маршируют, точно роботы, наши товарищи. Души их мертвы, музыка гонит их, как ветер сухие листья, заменяя волю, потому что у них больше нет воли. Они подчиняются ритму: каждый удар барабана — шаг, рефлекторное сокращение выжатых мышц. Немцы добились, чего хотели: десять тысяч шагают в ногу без чувств, без мыслей; они — безликая, четко отлаженная машина.

Когда заключенные выходят из лагеря и входят в лагерь, эсэсовцы всегда тут как тут. Да и кто мог бы опорить их право присутствовать на постановке, хореографами которой они сами же являются? Кто мог бы воспрепятствовать им смотреть на танец уже неживых людей, которые, колонна за колонной, уходят в туман и приходят из тумана? Разве это не самое наглядное доказательство их победы?

И те, кто сейчас в Ка-бэ, знают эти уходы на работу и приходы с работы, знают этот безостановочный гипнотический ритм, убивающий мысль и притупляющий боль. Они испытали это и испытают снова. Но, только вырвавшись из колдовского круга, только услышав эту музыку извне, когда она к тебе не относится и тебя не подчиняет, как тогда в санчасти или теперь, после освобождения и возвращения к жизни, можно понять, чем же она была на самом деле, какая продуманность лежала в основе этого созданного немцами чудовищного ритуала и почему даже сегодня, если вдруг напомнит о себе ненароком одна из тех невинных песенок, кровь застывает в жилах и ты осознаешь: не так уж это и мало, что удалось вернуться живым из Освенцима.

Мои ближайшие соседи делят нары на двоих. Весь день и всю ночь они лежат тело к телу, соприкасаясь кожей, в положении зодиакальных Рыб, так что ноги одного покоятся рядом с головой другого.

Первый — Вальтер Бонн, интеллигентный, довольно образованный голландец. Видя, что мне нечем резать хлеб, одалживает свой нож, а потом предлагает купить его за половину хлебной пайки. Я, поторговавшись о цене, в конце концов отказываюсь, решив, что здесь, в Ка-бэ, нож всегда удастся одолжить, а когда выйду, смогу купить его и за треть пайки. Несмотря на мой отказ, Вальтер со мной по-прежнему вежлив, и в обед, доев суп, сам протягивает мне ложку, предвари-

тельно, как и положено, тщательно ее облизав (во-первых, чтобы она стала чистой, а во-вторых, чтобы не оставить на ней случайно ни капли, ни намека на каплю собственного супа).

— Чем ты болен, Вальтер?

— *Kögerschwäche* (истощение организма).

По словам Вальтера, это самое плохое, что может быть. Болезнь не лечится, с таким диагнозом очень опасно обращаться в санчасть. Если бы не отеки на ногах (он демонстрирует их мне), из-за которых ему все труднее ходить на работу, он бы еще подумал, стоит записываться в больные или нет.

Об опасностях такого рода у меня пока смутные представления. О них прямо не говорят, а только намеками, когда я спрашиваю — на меня смотрят и молчат. Неужели все это правда насчет селекций, газа, крематория?

При слове «крематорий» сосед Вальтера, польский еврей Шмулек, вдруг просыпается и подскакивает на нарах:

— Что случилось? Кто сказал крематорий? Дадут здесь, в конце концов, поспать человеку или нет?

Кузнец Шмулек не очень молод. Он альбинос, у него изможденное лицо, добрые глаза. Вальтер коротко объясняет ему, о чем мы говорили.

Ах так, «*Italeuner*» не верит, что существует селекция? Шмулек начинает говорить по-немецки, но сбивается на идиш. Я понимаю его с трудом, да и то потому, что он сам хочет, чтобы я понял. Жестом Шмулек велит Вальтеру замолчать: он, мол, лучше объяснит.

— Покажи свой номер, — говорит он. — Ты 174 517. Этот счет был начат восемнадцать месяцев назад для прибывающих в Освенцим и побочные лагеря. Сейчас в Буне нас десять тысяч, примерно тридцать тысяч еще от Освенцима до Биркенау. *Wo sind die Andere* (где другие)?

— Может, переведены еще в какие-нибудь лагерь? — высказываю предположение.

Шмулек качает головой, поворачивается к Вальтеру:
— Эр вил ништ фарштэйн*.

Но судьбе было угодно, чтобы я понял, причем на примере самого Шмулека. Вечером открылась дверь нашего барака, и кто-то крикнул: «Achtung!» — после чего моментально смолкли все звуки, наступила напряженная тишина.

Вошли двое эсэсовцев (один со знаками отличия на мундире, наверное, офицер), их шаги звучат гулко, как в пустоте. Они о чем-то разговаривают с главным врачом, тот показывает им список, кивает то в одну, то в другую сторону. Офицер помечает что-то в своем блокноте. Шмулек теребит мое колено:

— Pass' auf, pass' auf (сходи, сходи)!

Офицер с непроницаемым лицом идет за врачом по проходу вдоль нар. У него в руках хлыст, он ударяет им по свесившемуся одеялу, больной быстро подбирает край, офицер идет дальше. Останавливается перед другим, с желтым лицом, сдергивает с него одеяло. Тот вздрагивает. Офицер щупает ему живот, говорит: «gut», «gut», делает следующий шаг.

Вот его взгляд падает на Шмулека, он вытаскивает свой блокнот, сверяет номер нар и номер татуировки. Потом (мне это хорошо видно сверху) против номера Шмулека ставит крестик и опять идет дальше.

Я бросаю взгляд на Шмулека, но встречаюсь глазами с Вальтером и не произношу ни звука.

На следующий день, когда начинается выписка выздоровевших, на выход готовят не одну группу, а две. Одних предварительно бреют, стригут и отправляют в душ, других уводят, как есть — обросшими, без душа, не сменив им повязок. С этими никто не прощается, никто не просит передать привет здоровым товарищам.

С этими уходит и Шмулек.

* Он не хочет понимать (*идиш*).

Так, деликатно, без лишнего шума, без ожесточения, проводится в Ка-бэ ежедневное истребление заключенных: сегодня навсегда уходят одни, завтра другие. Когда ушел Шмулек, он оставил мне ложку и нож. Мы с Вальтером прячем глаза, долго молчим. Потом Вальтер спрашивает меня, как мне удастся так надолго растягивать хлебную пайку, и объясняет, что сам он обычно разрезает кусок вдоль, тонкими широкими ломтями, чтобы легче было намазывать маргарин.

Вальтер мне много всего объясняет: Schonungsblock — это блок отдыха, сюда кладут легких, выздоравливающих или тех, кому лечение не назначено. Примерно у половины дизентерия разной степени тяжести. Каждые три дня дизентерийных больных проверяют. Их выстраивают в очередь в коридоре перед двумя жестяными тазиками, возле которых стоит санитар со списком, часами и карандашом. Больные должны подходить по двое и тут же, прямо на месте, представлять доказательство наличия у них диареи, на это отводится всего одна минута. Затем они демонстрируют результат санитару, тот его оценивает и выносит вердикт. Тазики споласкиваются в специальной бадье, после чего передаются двум следующим больным.

Среди тех, кто ожидает своей очереди, одни корчатся от мучительных спазмов, стараясь удержать в себе бесценное доказательство еще двадцать, еще десять минут, другие, чьи ресурсы к нужному моменту оказались исчерпаны, безрезультатно тужатся изо всех сил над тазиком. Санитар, жуя карандаш, безучастно переводит взгляд со стрелки часов на предоставляемые ему то и дело образцы. В сомнительных случаях берет тазик и уходит советоваться с врачом.

— Знаешь, как я их надуваю? — спрашивает навестивший меня римлянин Пьеро Соннино, который здесь уже двадцать дней.

У Пьеро легкий энтерит. Он хорошо себя чувствует, отдыхает, толстеет, плюет на селекции и рассчитывает продержаться в Ка-бэ до весны, чего бы ему это ни

стоило. Его метод заключается в том, чтобы во время дизентерийной проверки оказаться в паре с тем, кто действительно страдает поносом и может обеспечить ему стопроцентную гарантию. Когда подходит очередь, он (в обмен на хлеб или суп) предлагает поноснику сделку и, если тот соглашается, а санитар на секунду теряет бдительность, подменяет тазики в момент подачи, и дело сделано. Пьеро понимает, как рискует, однако пока все у него получается удачно.

Но жизнь в Ка-бэ — это не только фатальные моменты селекций, комические эпизоды дизентерийных проверок и контроля на вшивость, даже не сама болезнь. Ка-бэ — это место отдыха от физических перегрузок, поэтому те, в ком еще не погасла последняя искра сознания, там это сознание восстанавливают, приходят в себя и, пока тянутся долгие пустые дни, говорят не только о голоде и работе, но и о том, что с нами сделали, во что превратили, чего лишили. В санчасти, оказавшись на какое-то время в условиях относительного покоя, мы поняли, как хрупка человеческая личность: потерять ее легче, чем саму жизнь. Древние мудрецы, вместо того чтобы напутствовать нас: «Помни о смерти!», лучше бы предостерегли от гораздо более серьезной опасности, которая нам угрожает. Если бы отсюда, из-за лагерной колючей проволоки, мы имели возможность отправить послание свободным людям, оно звучало бы так: «Вы, живущие в своих домах, не допустите, чтобы с вами произошло то, что происходит здесь с нами».

Когда работаешь, непосильная работа поглощает тебя целиком, и нет времени думать; родной дом — всего лишь далекое воспоминание. В Ка-бэ мы хозяева своего времени; несмотря на запрет — ходим от нарк к нарам, навещаем друг друга, говорим, говорим... Деревянный барак переполняется страданиями человеческими, словами, воспоминаниями, горем и болью...

«Heimweh» называется по-немецки эта боль, красивое слово, оно означает «тоска по родине».

Чем все кончится — мы знаем. Воспоминания о мире по ту сторону лагеря не оставляют нас ни днем, ни ночью, мы с удивлением обнаруживаем, что не забыли ничего, что самые далекие эпизоды жизни всплывают из глубин нашей памяти, отдаваясь болью.

Но мы не знаем, как и когда это произойдет. Мы можем поправиться от своей болезни, избежать селекции, даже не обессилеть окончательно от работы и голода, а что потом? Здесь, вдали от проклятий и побоев, которыми нас осыпают, мы вновь становимся самими собой, обдумываем свое положение и тогда ясно осознаем, что назад мы не вернемся. Сюда нас привезли в опломбированных вагонах; мы видели, как ушли в никуда наши женщины и наши дети; превращенные в рабов, мы сами сотни раз маршировали с тупым усердием на работу и с работы, и наши души потухли задолго до наступления неведомого нам конца. Мы не вернемся. Никто не должен отсюда вернуться, никто не должен вместе с клеймом на своем запястье предъявить миру страшное свидетельство о том, во что здесь, в Освенциме, человек осмелился превратить человека.

НАШИ НОЧИ

Через двадцать дней рана на ноге практически зажила, и, к моему великому неудовольствию, из Ка-бэ меня выписали.

Процедура выписки проста, но мучителен и опасен процесс повторного вхождения в лагерную жизнь. Тот, у кого нет поддержки и связей, после выхода из санчасти ни за что не вернется в старый блок и в старую команду, а по непонятным соображениям обязательно будет помещен в другой барак и зачислен на другую работу. Мало этого, выздоровевший выходит из санчасти голым: одежда и обувь ему полагается «новая» (то есть не та, в которой он сюда пришел и которую оставил у входа), ее надо спешно привести в порядок, подогнуть по себе, а это требует немалых усилий и средств. Снова приходится обзаводиться ложкой и ножом. Но что хуже всего — попадаешь в новую среду, где вокруг ни одного знакомого лица, где на тебя смотрят враждебно, как на чужака, где новый капо, от которого, пока не разберешься в его характере, не известно, чего и ждать.

Человеческая способность создавать себе нишу, отделяться от окружающих невидимой оболочкой, возводить защитный барьер даже в условиях очевидно безнадежных, поразительна, она требует особого исследования. Речь идет об умении приспособиться, о тонкой, частично бессознательной, частично сознательной работе по налаживанию отношений: вбить над головой гвоздь, чтобы вешать на него ночью свои башмаки, заключить с ближайшими соседями молча-

ливое соглашение о ненападении, разобраться в порядках и обычаях данного барака, данной команды и их придерживаться. Проведя такую работу, уже через несколько недель удастся добиться определенного равновесия, определенной степени защиты в непредвиденных обстоятельствах, а это значит, что прижиться на новой почве удалось, пересадка прошла благополучно.

Однако человек, выписанный из Ка-бэ голым и почти всегда недолеченным, чувствует себя так, будто его выбросили в темное и ледяное космическое пространство. Штаны с него сваливаются, башмаки жмут, на куртке нет пуговиц. Он ищет помощи у окружающих, но встречает лишь повернутые к себе спины. Он беззащитен и беспомощен, как новорожденный, а завтра ему чуть свет шагать на работу.

Именно в таких условиях должен был оказаться я, когда санитар после долгой бюрократической волокиты вручил меня старосте сорок пятого блока. Я чуть не подскочил от радости: да это же блок Альберто, мне здорово повезло!

Альберто — мой лучший друг. Он на два года моложе меня, ему всего двадцать два, но никто из нас, итальянцев, не смог так быстро сориентироваться в новых обстоятельствах, как он. Альберто вошел в лагерь с высоко поднятой головой и до сих пор невредим и не сломлен. Он раньше всех понял, что в лагере — как на войне: он не пытался искать защитников, не терял времени на бесполезные жалобы и сочувствие к другим, а с первого же дня вступил в бой. Обладая умом и чутьем, он иногда рассчитывает свои действия, иногда нет, но все равно попадает в точку. Во французском он не силен, но схватывает все с полуслова, даже понимает, о чем говорят немцы и поляки. Сам разговаривает только по-итальянски и с помощью жестов, но все его понимают, все ему симпатизируют. Борясь за выживание, он ухитряется оставаться со всеми в дружеских отношениях, знает, кого следует подкупить, кого разжа-

любить, от кого держаться подальше, кому продемонстрировать силу.

Но при этом (за что я и сегодня вспоминаю его с любовью, как очень близкого и дорогого мне человека) он не испортился. Альберто был и остается для меня примером редкого сочетания силы и доброты; против таких людей оружие зла бессильно.

Мне не удалось устроиться на одни нары с Альберто, и даже самому Альберто, хоть он и пользовался определенным авторитетом в сорок пятом блоке, это не удалось. Жаль, конечно, потому что иметь товарища по нарам, которому ты доверяешь или с которым у тебя общий язык, — это необыкновенное везение. Особенно зимой, когда ночи длинные, когда на семидесяти сантиметрах ширины, под одним одеялом ты вынужден делиться своим потом, своим запахом, своим теплом с другим, очень хочется, чтобы этот другой был тебе другом.

Зимой ночи длинные, к сну добавляется значительный привесок времени. Мало-помалу шум в блоке стихает. Час прошел, как раздали вечернюю еду, но несколько упрямец, морща от напряжения лбы, продолжают при свете лампы скрести по пустому, уже выскобленному до блеска дну своих котелков. По рядам ходит инженер Кардош: он лечит израненные ноги, обрабатывает загноившиеся мозоли — это его заработок. Любой с радостью отказывается от пайки хлеба, лишь бы ему облегчили страдание, которое доставляют запущенные, кровоточащие при каждом шаге раны, а инженер Кардош таким благородным образом решает проблему выживания.

Через заднюю дверь, прячась и оглядываясь по сторонам, осторожно входит человек. Он садится на нары Вахсмана, начинает петь на идише, и тут же вокруг него собирается небольшая группа внимательных молчаливых слушателей. Поет он нескончаемую песню, все-

гда одну и ту же, состоящую из рифмованных катренов и полную неизбывной смиренной тоски (а может, память сохранила ее тоскливой, потому что она связана для меня с тем временем и тем местом). Насколько я могу понять, эту песню он сочинил сам, в ней рассказывается про лагерь и про его собственную судьбу. Наиболее щедрые награждают певца щепоткой табака или моточком ниток, но большинство внимательно слушает, но ничего не дает.

Вдруг по бараку разносится:

— Wer hat kaput die Schuhe (у кого порвались башмаки)?

Это последнее действие уходящего дня, и тут же поднимается гвалт, сорок или пятьдесят человек устремляются в Tagesraum. Все спешат, яростно отталкивают друг друга, потому что шансы на обмен есть в лучшем случае лишь у первых десяти.

После этого воцаряется тишина. Свет гаснет сначала на несколько секунд: это сигнал портным, чтобы они успели спрятать свои драгоценные иголки и нитки. Потом слышится далекий звук колокола, заступает на дежурство ночная вахта, и свет гаснет окончательно. Нам ничего не остается, как улечься на свои нары.

Я не знаю, кто мой сосед. Я даже не уверен, всегда ли это один и тот же человек, потому что после подъема в утренней суматохе не успеваю хорошенько разглядеть его лицо. Зато я знаю его спину и его ноги. Он не из моей команды, появляется всегда во время отбоя, уже в темноте, залезает на нары, натягивает на себя одеяло, толкает меня своим костлявым телом, поворачивается спиной и сразу же начинает храпеть. Упершись спиной в его спину, я пытаюсь отвоевать положенное мне пространство на соломенном матраце, давя своим тазом на его таз, потом переворачиваюсь головой в другую сторону и пускаю в ход колени, стараясь сдвинуть его ноги чуть в сторону, чтобы они не лежали ря-

дом с моим лицом, но все тщетно: он тяжелее меня и во сне словно окаменел.

Приходится довольствоваться тем, что есть: вытягиваюсь вдоль самого края нар — наполовину на матраце, наполовину на голых досках. Но я настолько устал, настолько измучен, что скоро и сам проваливаюсь в сон, и мне снится, что я сплю на железнодорожных рельсах.

Вот-вот подойдет поезд: я слышу пыхтение локомотива. Или это сопит мой сосед? Я еще не так крепко сплю, чтобы принять сопение соседа за пыхтение приближающегося локомотива. Точно, это тот же локомотив, который сегодня в Буне притащил вагоны для разгрузки, я узнал его, потому что, как и днем, когда он прошел рядом с нами, от его черного чрева тянет теплом. Пыхтение все ближе, он вот-вот меня переедет, но ожидание тянется, роковой момент никак не наступит. Мой сон чуток, он как легкая пелена, захочу — и сразу проснусь. Я хочу проснуться, мне надо подняться с рельс, делаю над собой усилие и просыпаюсь. Но не окончательно, останавливаюсь на грани забытья и бодрствования. Глаза у меня закрыты, я не хочу их открывать, чтобы не спугнуть сон, но уши улавливают все звуки: далекий свист не имеет отношения к снящемуся мне локомотиву, он настоящий, абсолютно реальный, я это точно знаю. Этот свист доносится с узкоколейки, проложенной к стройке, работа там не останавливается даже ночью. Сначала — длинная тянущаяся нота, за ней другая, на полтона ниже, потом снова первая, но теперь она звучит коротко и резко обрывается. Этот свист имеет очень важный, очень существенный смысл: он настолько соединился в нашем сознании с лагерем и непосильным трудом, что превратился в символ, вызывающий стойкую ассоциацию, как некоторые музыкальные темы или запахи.

...Моя сестра, несколько друзей (кто именно — не могу сказать, но знаю, что это близкие друзья), еще какие-то люди... Все слушают меня, а я подробно рас-

сказываю о трехзвучном свисте, о жестких нарах, о соседе, которого мне хочется подвинуть, но я боюсь разбудить его, потому что он сильнее меня. Рассказываю о нашем голоде, о проверке на вшивость, о том, как капо ударил меня в нос, а потом отправил умываться, потому что я был весь в крови. Это непередаваемое счастье, огромное, почти физическое наслаждение находиться дома, среди своих, рассказывать о себе, мне так много надо им рассказать! Но я замечаю: моих слушателей не трогает рассказ, больше того, они вообще перестают слушать, переговариваются о чем-то между собой, будто меня нет среди них. Сестра смотрит на меня, встает и, не сказав ни слова, выходит из комнаты.

И тут меня охватывает такое безграничное отчаяние, которое сравнимо разве что с детским отчаянием, от которого в памяти сохранилась лишь боль. Заставляющая ребенка плакать без видимой причины, она не связана с чем-то конкретным, с какими-то жизненными обстоятельствами; это боль как таковая, боль как чистая субстанция. В эту минуту я чувствую, что мне снова надо выплыть на поверхность, и на этот раз открываю глаза, желая убедиться, что я действительно проснулся.

Сознание мое ясно, но сон стоит перед глазами во всех подробностях, я по-прежнему в его власти. И тут я вспоминаю: с тех пор как я в лагере, этот сон уже снился мне, и не один, а много раз, менялись лишь детали, и то незначительно. Проснувшись окончательно, я вспоминаю и о том, что рассказывал этот сон Альберто, и тот, к моему великому удивлению, признался: это и его сон, и сон многих, если не всех. Как такое может быть? Каким образом наши дневные муки переводятся в один сон, в одну для всех сцену, когда пытаешься рассказать, а тебя не слушают?

Размышляя об этом, я стараюсь использовать минуты бодрствования для того, чтобы полностью освободиться от тоскливого ощущения, дабы оно не попало в

мой следующий сон и не испортило его. Я приподнимаюсь на нарах, оглядываюсь, прислушиваюсь.

Вокруг дышат, храпят, стонут, разговаривают во сне. Многие чмокают губами, двигают челюстями. Им снится, что они едят. Это тоже коллективный и очень жестокий сон: тому, кто придумал миф о Тантале, он наверняка должен был сниться. Пищу не просто видишь, но держишь в руках конкретный продукт, определенную еду, вдыхаешь ароматный дразнящий запах, уже подносишь к губам... и тут что-то обязательно случается, каждый раз разное, но результат один: в рот ничего так и не попадает. Тогда сон путается, распадается на отдельные элементы, которые тут же вновь соединяются в слегка измененном виде, чтобы перейти в следующий сон. И это у каждого, из ночи в ночь, от отбоя до подъема, без передышки.

Сейчас уже не меньше одиннадцати, это подтверждает оживленное хождение к ведру, которое стоит возле ночных дежурных. Речь о нашем позорном страдании, о нашем постыдном недуге: каждые два-три часа мы вынуждены вставать, чтобы отлить изрядную порцию жидкости, которую днем, в надежде утолить голод, влили в себя в виде супа. К вечеру от этой воды у нас опухают ноги, отекают глаза, наши расплывшиеся физиономии обретают черты сходства, а почки начинают интенсивно работать.

И если бы дело было только в том, чтобы дойти до ведра и вернуться обратно! По закону тот, кто добавил последние капли в уже наполненное ведро, идет выливать его в сортир. Еще по одному закону выход из барака в ночное время разрешается только в ночной одежде (рубашка и трусы), куртка с личным номером остается у ночных дежурных. Само собой разумеется, ночная вахта старается освободить от этой обязанности приятелей, земляков и придурков; что касается лагерных старожилков, то они в своем нежелании покидать тепло барака настолько отточили чутье, что могут, лежа на нарах, определить по звуку струи степень на-

полненности ведра и таким образом почти всегда избегают опасного момента, когда требуется его выносить. Вот и получается, что число кандидатов на вынос ведра в каждом бараке очень ограничено, в то время как совокупное количество отлитых литров не меньше двухсот, следовательно, ходить с ведром в уборную приходится раз двадцать за ночь.

Из этого можно сделать вывод, что больше всех рискуем мы, новички и непривилегированные, когда нужда гонит нас к ведру: дежурные неожиданно выскакивают из своего угла, хватают тебя, записывают номер, выдают деревянные сабо и выгоняют с ведром на мороз. Полусонный, замерзший, ты тащишь в сортир это отвратительно теплое, задевающее голые икры ведро, а поскольку оно наполнено до самых краев, его содержимое при каждом движении расплескивается и неизбежно попадает тебе на ноги. По этой причине как ни омерзительна данная обязанность, но каждый из нас предпочитает, чтобы выполнить ее досталось ему самому, а не спящему с ним валетом соседу по нарам.

Так проходят наши ночи. Сон Тантала и сон, в котором мы пытаемся рассказать о наших страданиях, сплетаются с другими снами, населенными смутными образами: дневные муки — голод, побои, холод, физическая усталость, страх, униженность — превращаются ночью в череду невообразимых, бесформенных кошмаров, которые в обычной жизни мучают человека лишь при высокой температуре. Мы то и дело просыпаемся от этих кошмаров, содрогаясь всем телом, коченея от страха, а в ушах еще звучат злые окрики, грубые команды на чужом непонятном языке. Процессия, тянущаяся к ведру, и шлепанье босых ног по деревянному полу рождают в воображении образ другой, полной символического смысла процессии: это мы, серые и неотличимые друг от друга, маленькие, как муравьи, и большие, до звезд, тянемся плотной чередой по бес-

крайней равнине до самого горизонта, и несть нам числа. Это мы — то превращаемся в единую субстанцию, беспокойную массу, тонем и задыхаемся в ее липкой вязкости, то, с подступающей к горлу тошнотой, почти теряя сознание от головокружения, маршируем по кругу, у которого ни начала, ни конца. И так до тех пор, пока голод, холод или переполненный мочевой пузырь не направят наши сны по другому пути. Когда кошмар или физические страдания заставляют нас проснуться, мы тщетно пытаемся распутать чудовищный клубок, разять его на отдельные составляющие и, защищая сон от их власти, отбросить за пределы памяти. Но едва наши глаза закрываются, мы ощущаем, как сознание, не способное к покою, вновь, помимо нашей воли, начинает работать: оно стучит и гудит, рождая призраков, рождая жуткие образы и безостановочно проецируя их серое расплывчатое изображение на экраны наших снов.

Но всю ночь, пока ты спишь, во время кошмара и когда пробуждаешься от него, тебя не оставляет ужасная мысль об утреннем подъеме; эта мысль настолько гнетущая, что мы, не имея часов, способны очень точно определять, сколько до него осталось. В зависимости от времени года час подъема меняется, но он всегда задолго до восхода солнца, и возвещает о нем долгим звоном лагерный колокол. По этому сигналу заканчивается ночная вахта, дежурные разминают ноги, потягиваются, зажигают в бараке свет и произносят свой ежедневный приговор: «Aufstehen!», а часто и по-польски: «Wstawać!»

Мало кого «Подъем!» будит. Это настолько горестный момент, что при его приближении даже самый крепкий сон улетучивается. Ночные дежурные знают это и потому никогда не произносят проклятую команду приказательным тоном, но всегда тихо и вкрадчиво, уверенные, что она не минует ничьих ушей, а будет услышана и выполнена.

«Wstawać!» — чужое слово камнем падает на дно каждой души, обманчивое ощущение тепла под одеялом, хрупкая броня сна — вся наша, пусть и мучительная, иллюзия ночного укрытия рушится; в одно мгновение мы оказываемся безвозвратно, бесповоротно бодрствующими, чудовищно неприкрытыми и уязвимыми, выставленными на позор. Начинается день, обычный, как все дни, с холодом, голодом и физической усталостью, такой длинный, что, кажется, ему не будет конца, поэтому самое лучшее — сосредоточить все внимание и все помыслы на пайке серого хлеба, которая хоть и мала, но через час точно станет твоей, и целых пять минут, пока ты будешь ее жадно поедать, у тебя на нее будут законные права.

Команда «Wstawać!» поднимает бурю в бараке, он начинает ходить ходуном: все бешено суетятся, снуют туда-сюда, норовя одновременно заправить постель, натянуть на себя одежду и ни на секунду не выпустить из поля зрения вещи, чтобы их не украли. В воздухе поднимается плотное пыльное облако; самые проворные, орудуя в толпе локтями, пытаются первыми пробиться к сортиру и умывальне, пока туда не выстроилась очередь. Незамедлительно на сцене появляются подметальщики и с руганью выгалкивают всех из барака.

Я тоже, заправив постель, одевшись, спускаюсь на пол и сую ноги в башмаки. Едва затянувшиеся за ночь раны открываются снова. Так начинается новый день.

РАБОТА

До Резника со мной спал поляк — скромный, тихий, никто даже не знал, как его зовут. На обеих ногах у него были незаживающие язвы, и по ночам от него пахло болезнью. К тому же у него был слабый мочевой пузырь, и он просыпался и будил меня раз восемь — десять за ночь.

Однажды вечером он отдал мне на сохранение свои рукавицы и отправился в санчасть. Я надеялся, что блочный регистратор не вспомнит, что я остался на своих нарах в одиночестве, однако через полчаса, уже после отбоя, нары затряслись, и ко мне залез длинный рыжий тип с номером французов из Дранси.

Делить койку с длинным напарником — настоящее несчастье: теряешь несколько часов сна; мне же постоянно попадались именно такие. Сам я маленький, а два больших вообще бы не смогли уместиться на одних нарах. Тут же, правда, выяснилось, что, несмотря на свои размеры, Резник вовсе не такой уж плохой напарник: чистый, немногословный, вежливый, не храпит, за ночь встал раза два-три, не больше, причем осторожно, стараясь меня не беспокоить. На утро сам предложил заправить постель и сделал это быстро и хорошо. Надо сказать, что заправка постели — очень сложная, противная и к тому же рискованная процедура: тех, кто плохо заправляет постель (*schlechte Bettenbauer*), беспрерывно наказывают. Поэтому, когда мы уже стояли на площади для переключек, я обрадовался, узнав, что Резника включили в нашу команду.

По пути на работу, скользя в своих неуклюжих сабо по обледенелой дороге, мы перекинулись парой слов, и я узнал, что Резник из Польши, двадцать лет жил в Париже, хотя говорить по-французски так толком и не научился, ему тридцать лет, но, как и всем нам, дать ему можно от семнадцати до пятидесяти. Он рассказал мне свою историю, но сегодня я ее забыл, помню только, что это была ужасная, душераздирающая история, такая же, как все наши истории, сотни тысяч наших историй — разных и удивительно похожих в своей трагической закономерности. Вечерами мы по очереди их рассказываем. Они происходили в Норвегии, Италии, Алжире, на Украине, они просты и непонятны, как библейские истории. Но разве наши истории не библейские? Разве они не достойны новой Библии?

Когда мы приходим на стройку, нас направляют на Eisenröhreplatz — на площадку, куда складывают железные трубы, и начинается обычный утренний ритуал: капо проводит переключку, сразу же берет на заметку новенького, обговаривает с вольным мастером работу на сегодня, потом вверяет нас бригадиру и отправляется спать в натоленную каптерку. Этот капо еще сносный, потому что он не еврей и не боится потерять свое место. Бригадир раздает железные рычаги — нам, а своим приятелям — домкраты. Происходит ежедневная утренняя потасовка: каждому хочется захватить рычаг полегче. Мне сегодня не везет: рычаг попался погнутый и тяжелый, не меньше пятнадцати кило; им одним-то орудовать — и то через полчаса до смерти устанешь.

После этого мы покидаем площадку и бредем, спотыкаясь, каждый со своим рычагом, по грязному снежному месиву. При ходьбе это месиво налипает на деревянные подошвы, идти на таких тяжелых бесформенных нашлепках трудно, но и избавиться от них невозможно; иногда вдруг с одной подошвы нашлепка сваливается

сама собой, тогда начинаешь хромать, как будто у тебя ноги разные.

Сегодня нужно выгрузить из вагона гигантский чугунный цилиндр, который весит не одну тонну, по-моему, это труба от химического синтезатора. Для нас даже лучше, потому что чем больше груз, тем меньше сил мы тратим. Это происходит за счет правильного распределения сил и за счет использования специальных приспособлений. Но выгружать такие тяжести очень опасно: стоит на секунду отвлечься, ослабить внимание, и будешь раздавлен.

Мастер Ногалла, строгий, серьезный и молчаливый поляк, лично руководит операцией выгрузки цилиндра. Наконец цилиндр на земле, и мастер Ногалла говорит: — *Bohlen holen*.

У нас падает сердце. *Bohlen holen* означает носить шпалы, чтобы выложить ими дорогу в жидкой грязи, а потом с помощью рычагов катить по этой дороге цилиндр до самого завода. Но шпалы вмерзли в землю, они весят по восемьдесят килограммов каждая, таскать их — непосильный труд. Только самые здоровые, работая вдвоем, смогут справиться с такой работой, да и то их хватит на пару часов, не больше. Для меня это просто пытка. Первая шпала чуть не продавила мне плечо, в ушах стучит, перед глазами круги; соображаю, что бы такое придумать, — со второй шпалой я не совладаю.

Надо попробовать напроситься в напарники к Резнику: он, похоже, работает на совесть, к тому же благодаря своему росту большую часть веса примет на себя. Хотя, скорее всего, он только посмеется надо мной и предпочтет мне какого-нибудь здоровяка вроде себя. Тогда я попрошусь в сортир, пробуду там как можно дольше, а потом где-нибудь спрячусь, чтобы меня не сразу нашли. Когда найдут — будут издеваться, бить, но все равно, лучше так, чем надрываться на этой работе.

К моему удивлению, Резник не только не отказывает мне, но самостоятельно, без моей помощи поднима-

ет один конец шпалы и бережно кладет на мое правое плечо, потом поднимает второй конец, взваливает его себе на левое плечо, и мы идем.

Шпала в снегу и в глине, при каждом шаге она бьет меня по уху, а снег набивается под воротник. Пройдя пятьдесят шагов, я чувствую, что больше не могу, это выше человеческих сил. Колени подгибаются, спина болит так, будто ее сжимают тисками, я боюсь оступиться и упасть. Мои башмаки промокли, в них хлюпает грязь — хищная, всепроникающая польская грязь, которая ежедневно отравляет наше и без того ужасное существование.

Я до крови закусываю губу. Известно, что небольшая физическая боль помогает человеку мобилизовать резервные возможности организма. И всем капо это тоже известно. Среди них есть настоящие скоты, которые бьют нас просто из жестокости, но есть и такие, кто подгоняет ударами в моменты непосильного напряжения, почти с любовью, понукая и подбадривая, как возчики выбившихся из сил лошадей.

Доходим до цилиндра, опускаем шпалу на землю. Я стою, точно в столбняке, уставившись в одну точку, с открытым ртом, бессильно повисшими вдоль тела руками, полностью вымотанный, опустошенный, и жду толчка, который заставит меня очнуться и вновь взяться за работу, а пока стараюсь использовать каждую секунду ожидания, чтобы собрать по крупицам оставшиеся силы.

Так и не дождавшись толчка, я чувствую, как Резник трогает меня за локоть, и мы, стараясь идти помедленнее, возвращаемся к шпалам. Там уже топчутся остальные, они тоже всеми способами затягивают передышку.

— Allons, petit, attrape, — командует Резник, — давай, малыш, хватайся.

И хотя шпала сухая, а потому немного легче предыдущей, я после второй ходки направляюсь к бригадиру и прошу в сортир.

Сортир наш довольно далеко, и в этом смысле нам повезло: на его посещение раз в день добавляется сверх положенного времени еще немного лишнего. В связи с тем что ходить туда в одиночку запрещено, с каждым посылают худосочного, непригодного к работе Вахсмана, который числится в команде сортирным провожатым, а по-немецки называется даже покрепче — Scheissbegleiter. Обязанность Вахсмана — предотвращать возможные побеги заключенных (смех, да и только!), а в действительности, следить, чтобы мы подолгу не прохлаждались.

Получив разрешение, я, сопровождаемый недомерком Вахсманом, отправляюсь в сортир, зачерпывая башмаками серую снежную грязь, перелезая через раскиданные повсюду железяки. Мы молчим, поскольку не владеем ни одним, общим для нас обоим, языком, но от других я знаю, что Вахсман — раввин, даже меламед*, большой знаток Торы, слывший у себя в местечке в Галиции, целителем и чудотворцем. Я готов этому поверить, иначе как объяснить, что такой хрупкий, слабый, тихий человек за два года в лагере не умер и даже не заболел? В его взгляде — живой огонь, в словах — убежденность, когда вечерами он подолгу спорит на идише и иврите о непостижимых для меня тонкостях Талмуда с Менди, раввином нового толка.

Сортир — это оазис покоя. Он еще не достроен, немцы не успели разделить его деревянными перегородками на обязательные отсеки с надписями: «Nur für Engländer» — только для англичан, «Nur für Polen» — только для поляков, «Nur für ukrainische Frauen» — только для украинских женщин и т.д. и т.п., вплоть до последнего, самого дальнего отсека «Nur für Häftlinge», поэтому здесь сидят бок о бок пожилой бородатый ра-

* Не знакомый с особенностями восточноевропейского иудаизма, П. Леви ошибочно полагал, что меламед (обучающий детей азам Закона) выше раввина.

бочий из России, о чем свидетельствует голубая повязка с надписью «OST» на его левой руке, мальчик-поляк с большими белыми буквами «P» на спине и на груди и английский военнопленный, поразительно розовощекий и выбритый, в чистой, отутюженной форме цвета хаки, безукоризненный вид которой портят лишь две буквы на спине «KG» (Kriegsgefangener — военнопленный). Еще один стоит в дверях и, при виде каждого вольного, снимающего на ходу ремень, спрашивает с одинаковой терпеливой интонацией:

— Etes-vous français?*

Возвращаясь на работу, я вижу грузовики с едой. Значит, уже десять, поворотный час, и полдень не за горами, можно начинать ждать обеда, черпая силы в этом ожидании.

Я делаю с Резником еще пару ходок. Каждый раз мы надеемся выискать шпалу полегче, даже пересчитываем дальние штабеля, но безрезультатно: все лучшие шпалы уже унесены, остались самые плохие: налитанные водой, заляпанные глиной, с металлическими креплениями для рельс.

Франц зовет Вахсмана идти за супом — значит, уже одиннадцать, утро, считай, прошло, а до вечера еще так далеко, что никто о нем пока и не думает. В одиннадцать тридцать Франц и Вахсман возвращаются с бачком, и им задают обычные каждодневные вопросы: из чего сегодня суп, какой консистенции, с верха или со дна котла. Я стараюсь удерживаться от подобных вопросов, но мой обостренный слух ловит ответы на вопросы других, мой нос втягивает принесенные ветром запахи кухни.

И наконец, как небесное знамение, как божественный знак, как непостижимое чудо, взрывает тишину звук полуденной серены, о котором молили наша усталость и наш общий голод. Мы сразу же привычно

* Вы француз? (фр.)

спешим к бараку со своими котелками, встаем в очередь, еле сдерживая звериную потребность поскорей наполнить желудки горячей бурдой, но никто не хочет первым протянуть котелок, потому что первому достается одна жижа. Капо, как всегда, глумится над нами, стыдит за прожорливость и следит, чтобы не слишком старательно помешивали содержимое бачка, поскольку то, что оседает на дно, по закону принадлежит ему. Но вот наступает блаженство, настоящее блаженство души и тела: мы согрели желудки горячим супом и млеем вокруг раскаленной гудящей печки. Курильщики бережными пальцами сворачивают тонкие сигареты, промокшая одежда дымится на наших телах от печного жара, распространяя вокруг запах овчарни и псины.

В такие моменты разговаривать не принято. Через минуту все спят, тесно прижавшись друг к другу; кто-то едва не валится вперед, но успевает вернуть спине прежнее положение. За прикрытыми веками с бешеной скоростью проносятся сны, и это тоже обычные сны, они каждый день нам снятся: мы у себя дома, моемся в великолепной горячей ванне; мы у себя дома, сидим за столом; мы у себя дома, рассказываем, как бесконечно тянется рабочий день, как ненасытен наш извечный голод, как короток этот сон измученных рабов.

Потом в недрах наших желудков, среди паров вялого пищеварения зарождается болезненный сгусток; он уплотняется, растет и, достигнув пределов сознания, отнимает у нас радость сна. *Es wird bald ein Uhr sein* — скоро час. Он, как быстротечный всепожирающий рак, убивает наш сон и заставляет нас сжиматься в тоскливом ожидании. Мы прислушиваемся к свисту ветра за окном, к хрусту снежного наста. *Es wird schnell ein Uhr sein* — уже почти час. Мы еще хватаемся за сны, стараемся удержать их, но все чувства обострены в ожидании сигнала: сейчас он раздастся, вот-вот...

Все. Удар по стеклу. Мастер Ногалла бросил в окно снежок, а теперь стоит под окном и показывает нам на циферблат своих часов. Капо поднимается, потягивается и говорит тихо, не сомневаясь, что будет услышан:

— *Alles gaus* — все на выход.

О, если бы найти силы плакать! О, если бы найти силы побороться с ветром на равных, как прежде, когда ты еще не был бесчувственным червем!

Выходим, каждый берет свой рычаг. Резник прячет голову в плечи, натягивает шапку по самые уши, поднимает лицо к низкому серому небу, в котором вихрится безжалостный снег, и бурчит по-французски про собаку, которую в такую погоду хороший хозяин не выгонит на улицу:

— *Si j'aveu une chien, je ne le chasse pas dehors.*

ХОРОШИЙ ДЕНЬ

Убежденность, что жизнь имеет цель, неискоренима: ею пронизаны все фибры человеческой души, она является основой бытия. Свободные люди называют эту цель по-разному, много рассуждают и спорят о ее природе, для нас же это совсем простой вопрос.

Здесь и сейчас наша цель — дотянуть до весны. Все остальное в настоящий момент нас не заботит. Сегодня это предел наших мечтаний; о том, что будет дальше, мы не задумываемся. Утром, когда на площади для перекличек мы бесконечно долго ждем своей очереди, чтобы отправиться на работу, и каждый порыв ветра пронизывает нас насквозь, проникает под одежду и вызывает дрожь в наших незащищенных телах, утром, когда еще темно и все вокруг серо и сами мы серы, все головы повернуты к востоку, мы вглядываемся в небо, надеясь уловить первые признаки окончания зимы, и каждый восход солнца сопровождается комментариями: сегодня оно взошло чуть раньше вчерашнего... сегодня оно немного теплее... месяца через два... уже через месяц холода отступят, у нас будет передышка, одним врагом меньше...

Появившееся сегодня над грязным горизонтом солнце впервые было живым и ясным. И пусть это все то же польское солнце, холодное, белое и далекое, пусть оно не греет, а едва пригревает, но как только его нижний край выплыл из дымки, по нашей бесцветной толпе прокатился восторженный ропот, а сам я, почувствовав проникающее через одежду тепло, понял, что значит поклоняться солнцу.

— Das Schlimmste ist vorüber, — говорит Циглер, расправляя свои острые плечи. — Худшее позади.

Рядом с нами группа греков — нестигаемых евреев из Салоник, воров и обманщиков, жестоких и сплоченных, вызывающих восхищение и ужас, стремящихся выжить любой ценой и беспощадных в борьбе за свою жизнь, тех самых греков, заправляющих на кухнях и в каптерках, которых даже немцы уважают, а поляки боятся. Они третий год здесь, никто лучше них не знает, что такое лагерь. Сейчас они встали в круг, положили руки на плечи друг другу и поют свои нескончаемые протяжные песни.

Один из них, Фелицио, знает меня.

— L'année prochaine à la maison! — кричит он мне и добавляет: — À la maison par la Cheminée!* — Фелицио был в Биркенау.

И они продолжают петь, отстукивая ногами такт, пьянея от своих песен.

Когда мы наконец выходим через широкие лагерные ворота, солнце уже стоит высоко в чистом небе. На юге видны горы; на западе — неуместно мирная освенцимская колокольня (в таком месте — и вдруг колокольня!), кругом столбы ограждения. Над Буной в холодном воздухе висят дымы, хорошо различима череда невысоких, поросших хвойными лесами, холмов, при виде которых у нас сжимаются сердца, потому что все мы знаем, там — Биркенау, там закончилась жизнь наших женщин, скоро и мы отправимся туда в последний путь... но мы не любим смотреть в ту сторону.

Оглядываясь вокруг, мы впервые обнаруживаем, что и здесь растет трава — просто без солнца и зелень не зеленая.

Другое дело — Буна. Она безнадежно, по определению, так сказать, серая и безрадостная: горы железа, кучи цемента, грязь, дым — все это уже само по себе

* На будущий год домой! Домой через Трубу! (фр.)

является отрицанием прекрасного. Здесь у домов и улиц буквенные и цифровые имена, как у нас, или нечеловеческие, враждебные. На территории Буны ни травинки, земля здесь пропитана ядовитой угольной жижей и соляжкой; живые здесь только машины и рабы, причем первые живее вторых.

По размерам Буну можно сравнить с городом. Здесь работают, не считая начальства и немецкого технического персонала, сорок тысяч иностранцев, говорящих почти на двадцати языках. Все они живут в разных лагерях, расположенных по кольцу вокруг Буны: это лагерь английских военнопленных, лагерь украинских женщин, лагерь французских добровольцев и еще какие-то, мы их не знаем. Один наш лагерь (Judenlager, Vernichtungslager, KZ *) поставляет десять тысяч рабочих — евреев из всех европейских стран. Мы — рабы из рабов, нами все командуют, имя нам — номер, он вытатуирован у нас на руке, пришит на груди.

Карбидная башня в центре Буны, такая высокая, что ее верхушка почти всегда закрыта облаками, — наше детище, это мы ее построили. Построили из материала, который называется кирпич, Ziegel, briques, tegula, cegli, kamenny, bricks, téglak, а сцементировали своей ненавистью. Ненавистью и разобщенностью, как Вавилонскую башню. Мы так и прозвали ее: Вавилонская башня, Babelturm, Bobelturm. Мы вложили в нее ненависть к нашим хозяевам с их безумной мечтой о величии, с их презрением к Богу и к людям — к нам, людям.

Мы все, и даже сами немцы, чувствовали, что, как и над башней из древней легенды, над этим, основанным на смешении языков, нагло, словно каменное богохульство, вознесшимся к небу сооружением тоже висит проклятье — не трансцендентное и божественное, а имманентное, историческое.

* Еврейский лагерь, лагерь уничтожения, концентрационный лагерь (нем.).

Позже это подтвердилось: с завода Буны, над которым немцы бились целых четыре года, где мы страдали и умирали тысячами, так и не вышло ни одного килограмма синтетического каучука.

Но сегодня в непросыхающих, подернутых радужной нефтяной пленкой лужах отражается голубое небо; обледеневшие за ночь трубы, балки и котлы оттаяли, с них капает ржавчина; над кучами вынутой из котлованов земли, над горами угля, над цементными плитами поднимается легкий пар.

Сегодня хороший день. Точно прозревшие слепцы, мы смотрим вокруг, смотрим друг на друга: ведь мы ни разу не видели своих товарищей при свете солнца! Кто-то улыбается. Если бы только не голод...

Такова уж человеческая природа, что разные страдания, испытываемые одновременно, не соединяются в нашем сознании в одно общее страдание, а прячутся друг за друга по закону перспективы: меньшие отступают на задний план, пропуская вперед ббльшие. Благодаря этому человек в лагере имеет шанс выжить. В свободном же обществе, как нередко можно слышать, именно за это природное свойство его упрекают в вечном недовольстве. По существу, дело не столько в человеческой неспособности достичь ощущения полного благополучия, сколько в недостаточном понимании самого этого свойства, когда все многочисленные, выстроенные в иерархическом порядке причины недовольства вытесняются одной, самой из них существенной. Если же она исчезает или ослабевает, человек с горечью обнаруживает, что ее место сразу занимает другая причина, а то и целая цепь причин.

Поэтому, едва отступил холод, который мы всю зиму считали своим главным врагом, нас немедленно начал мучить голод, и, повторяя извечную ошибку, мы стали говорить: «Если бы только не голод!»

Но разве могли мы забыть о голоде? *Сам лагерь — голод, мы — голод, ходячий голод.*

На противоположной стороне дороги работает драга. Поднятый на тросе ковш разевает свою зубастую пасть, на мгновение зависает над землей, словно раздумывая, затем вгрызается в мягкую глину и алчно захватывает ее, а кабина, сытно рыгнув, пукает пучком плотного белого дыма. Потом ковш снова поднимается, описывает в воздухе полукруг, извергает из себя то, что в нем было, и все начинается сначала.

Опершись на свои лопаты, мы заворожено смотрим. При каждом укусе ковша наши челюсти сжимаются, острые кадыки ходят под обвисшей кожей вверх и вниз. Мы не в силах оторваться от зрелища обедающей драги.

Зиги семнадцать лет, он голоднее нас всех, хотя и получает каждый вечер дополнительно немного супа от своего, небескорыстного, надо думать, покровителя. Зиги говорит о доме в Вене, о матери, но скоро сбивается на тему еды, начинает рассказывать про какой-то свадебный ужин и буквально со слезами на глазах вспоминает о третьей, недоеденной тарелке фасолевого супа. Все требуют, чтобы он замолчал, но не проходит и десяти минут, как Бела начинает описывать свою деревню в Венгрии, кукурузные поля, рецепт приготовления сладкой поленты — с хрустящей корочкой, салом и специями. Его ругают, осыпают проклятьями, но через десять минут третий открывает рот и начинает рассказывать....

Как слаба наша плоть! Хоть я понимаю, что нельзя давать волю голодной фантазии, повальный недуг не минует и меня: перед глазами — дымящиеся спагетти, которые мы — Ванда, Лучана, Франко и я, только что приготовили в Италии, в сортировочном лагере. Мы как раз начали есть (спагетти были желтые, неразваренные, такие вкусные!), когда пришло известие о нашей завтрашней отправке сюда, и мы, дураки, ненормальные, — не доели! Если бы мы знали! Ну ничего, зато в следующий раз... Глупости! Уж если в чем и

можно быть уверенным на этом свете, так это в том, что ничего не повторяется дважды.

Фишер — из последнего транспорта. Он достает завернутый с венгерской аккуратностью кусок хлеба — половину своей утренней пайки. Уже давно замечено, что только Большие номера хранят свой хлеб в карманах; ни один старожил не в силах продержаться больше часа, чтобы не доест пайку — всю, до последней крошки. На этот счет существует даже целый ряд оправдательных теорий: хлеб, съеденный в несколько заходов, полностью не усваивается; нервное напряжение, которое испытывает голодный человек, пытаясь сохранить свой хлеб нетронутым, очень ослабляет организм и вредит здоровью; черствая, хлеб теряет свои питательные качества, поэтому чем раньше его употребишь, тем больше от него пользы; Альберто говорит, что голод и хлеб в кармане — величины с противоположными знаками, которые при сложении автоматически взаимоуничтожаются, а потому не могут сосуществовать у одного индивида. И наконец, наиболее бесспорно звучит утверждение, что самый надежный сейф для хлеба — это желудок; оттуда его ни один вор, ни один вымогатель не достанет.

— *Moi, on m'a jamais volé mon pain!* — хлопая себя по впалому животу, басит Давид. — *Sacré veinard, va!**

При этом он не сводит глаз с медленно и методично жующего «счастливчика» Фишера, у которого в десять утра еще осталась половина хлебной пайки.

Но сегодня не только из-за солнца радостный день: в полдень нас ждет самый настоящий сюрприз — кроме положенного обеденного рациона мы обнаруживаем в бараке замечательный пятидесятилитровый термос, из тех, в какие разливают суп на центральной кухне, поч-

* У меня хлеб ни за что не украсть! Чертов счастливчик, это же надо! (*фр.*)

ти полный. Темплер торжествующе смотрит на нас: этот термос «организовал» он.

Темплер — наш командный добытчик, или, выражаясь лагерным жаргоном, «организатор». У него особый нюх на супы для вольных, как у пчел на цветы. Наш капо — не самый плохой капо, он дает Темплеру полную свободу действий, и правильно делает: Темплер, точно ищейка, рыщет по следу и возвращается с радостным известием, что польские рабочие из метанолового цеха оставили в двух километрах отсюда сорок литров несъеденного супа, потому что у него, видите ли, прогорклый вкус, или что в тупике у центральной кухни стоит безнадзорный вагон с репой.

Сегодняшняя добыча Темплера — пятьдесят литров, а нас, включая капо и бригадира, — пятнадцать. Получается по три литра на душу. Один литр пойдет в добавок к обеденному рациону, два других мы оставляем на вторую половину дня: в порядке исключения каждому обещан пятиминутный перерыв для подзаправки.

О чем еще можно мечтать? И работа спорится лучше, когда знаешь, что в бараке тебя ждут два литра густого горячего супа. Капо обходит нас время от времени и спрашивает:

— Wer hat noch zu fressen (кто еще хочет пожрать)?

В этом слове нет ничего оскорбительного или издевательского. Когда мы, на ходу, одним духом, ожесточенно заглываем обжигающий рот и горло суп — это называется fressen — есть (о животных), а не essen — есть (о людях, которые делают это благоговейно, сидя за столом). Fressen — точное слово, мы и между собой им пользуемся.

Мастер Ногалла на своем рабочем месте, но он закрывает глаза на наши отлучки с работы. У мастера Ногаллы тоже не слишком сытый вид, и, если бы не разница в положении, возможно, и он не отказался бы от литра дармового варева.

Наступает очередь Темплера. С общего согласия он имеет право на пять последних литров со дна. Темплер не только отличный «организатор», но еще и выдающийся пожиратель супа: ему нет равных еще и потому, что он умеет заставить себя заранее, когда намечается обильная еда, опорожнить кишечник, что способствует поразительной вместимости его желудка.

Своим талантом Темплер очень гордится, и все, даже мастер Ногалла, о нем наслышаны. Сопровождаемый со всех сторон комплиментами, благодетель Темплер направляется в уборную, закрывается там, очень быстро, весь сияя, выходит уже подготовленным и под всеобщий восторг шагает к бараку, чтобы насладиться плодами своего труда.

— Nu, Templer, hast du Platz genug für die Suppe gemacht?*

Заходит солнце, гудит сирена: Feierabend, конец работы. И поскольку все мы (по крайней мере, на ближайшие несколько часов) сыты, то и настроение у нас благодушное. Никто не ругается, капо не дерется, мы в состоянии даже думать о наших матерях и наших женах, чего обычно с нами не бывает. Несколько часов мы сможем чувствовать себя несчастными в том смысле, в каком это понимают свободные люди.

* Ну что, Темплер, освободил место для супа? (нем.)

ПО ТУ СТОРОНУ ДОБРА И ЗЛА

У нас есть неискоренимая привычка видеть в каждом событии особый смысл или знак. Уже семьдесят дней прошло с последнего Wäschetauschen — процедуры обмена белья, — и поползли настойчивые слухи, дескать, белья для обмена нет потому, что из-за приближения фронта немцы лишились возможности отправлять в Освенцим новые транспорты, а значит, скоро освобождение. Одновременно высказывалось и противоположное мнение, будто задержка с обменом — верный признак скорой ликвидации лагеря. Тем не менее обмен состоялся, причем лагерное начальство постаралось провести его, как всегда, внезапно и во всех бараках одновременно.

Нужно сказать, что в лагере острый дефицит материи, поэтому она в большой цене; единственный способ раздобыть тряпку для сморканья или портянку — это отрезать к моменту обмена кусок от своей рубашки. Если рубашка с длинными рукавами, у нее отрезаются рукава, если нет — приходится довольствоваться полоской с края подола или спарывать одну из многочисленных заплат. В любом случае нужно время, чтобы раздобыть иголку с ниткой и произвести операцию более или менее аккуратно, в противном случае в момент сдачи порча рубашки будет непременно обнаружена. Кучи рваного грязного белья отправляют сначала в лагерную швейную мастерскую, где его кое-как подлатывают, потом — в дезинфекцию для прожарки, после чего (не стирая!) повторно распределяют. С целью уберечь подлежащее сдаче белье от перечисленных

выше ампутаций лагерное начальство и старается проводить обмены как можно неожиданнее.

Но обычно, несмотря на все предосторожности, чей-нибудь острый взгляд успевает проникнуть под брезент выезжающего из дезинфекции грузовика, и через пару минут весь лагерь уже знает: готовится Wäschetauschen. А на этот раз прошел даже слух, что рубашки совсем новые, с прибывшего три дня назад транспорта из Венгрии.

Лагерь приходит в движение. Все обладатели незаконных вторых рубашек — украденных, «организованных» или приобретенных честным путем в обмен на хлеб для утепления, а то и для капиталовложения в какой-то удачный момент, устремляются на черный рынок, надеясь успеть с выгодой обменять свою запасную рубашку до того, как хлынет поток новых или известие о их поступлении бесповоротно не обесценит товар.

Черный рынок работает бесперебойно. Хотя любой обмен (как и любая собственность) под строгим запретом, хотя капо и блочные старосты устраивают время от времени налеты, обращающие в дружное бегство и продавцов, и покупателей, и зевак, тем не менее ежедневно, едва колонны заключенных вернутся с работы, в северо-восточном углу лагеря (само собой разумеется, это самый дальний от поста СС угол) начинает собираться народ: летом толкуются под открытым небом, зимой — в умывальне.

Здесь с горящими глазами, открытыми ртами бродят десятки изголодавшихся людей; звериный инстинкт гонит их на толкучку, где одно только зрелище купли-продажи возбуждает у них слюноотделение, заставляет урчать их пустые желудки. Чаще всего при себе у них жалкая половина утренней хлебной пайки, которую они с невероятными усилиями сумели сберечь до вечера, лелея мечту совершить выгодное дельце, если повезет найти простака, который не в курсе текущих котировок. Некоторые, проявляя нечеловеческое терпение, приобретают за половину пайки литр супа,

отходят в сторонку, старательно вылавливают со дна редкие кусочки картошки, оставшуюся жижу снова меняют на половину хлебной пайки, пайку меняют на суп, чтобы и его в свою очередь подвергнуть денатурации, и так пока не надоест или пока какой-нибудь пострадавший не поймает их с поличным и не выведет при всех на чистую воду. Те, кто приходят на рынок продать с себя единственную рубашку, — из той же категории. Они прекрасно знают, что их ждет: рано или поздно Капо заметит, что под курткой у них ничего нет, и спросит, куда подевалась рубашка. Вопрос этот чисто риторический, абсолютно формальный, он нужен только для того, чтобы завести разговор. Капо ответят, рубашку, мол, украли в умывальне. Ответ не может восприниматься всерьез, он тоже предусмотрен правилами игры, ведь и дураку понятно, что из ста оставшихся без рубашек девяносто девять продали их сами от голода, хотя не могли не знать об ответственности за расхищение лагерной собственности. Капо изобьет их, выдаст другие рубашки, и рано или поздно все повторится сначала.

Свои постоянные места имеют на рынке профессиональные торговцы, первые из которых — греки; неподвижные и безмолвные, как сфинксы, они сидят на корточках, выставив перед собой котелки с густым супом, добытым благодаря работе на кухне, предприимчивости и национальной солидарности. Сейчас греков осталось очень мало, но они во многом определили лицо лагеря и внесли значительный вклад в создание интернационального жаргона, на котором объясняются заключенные. Все знают, что «*caavana*» — это котелок, а «*la comedera es buena*» — суп хороший; воровство как собирательное понятие передается выражением «*klepsi-klepsi*», наверняка греческого происхождения. Эти немногие оставшиеся в живых евреи из Салоник, необыкновенно активные, владеющие двумя языками, испанским и греческим, наделены конкретной, земной, расчетливой мудростью, впитавшей в себя тради-

ции всех средиземноморских цивилизаций. То, что эта мудрость проявляется в лагере в форме научно обоснованной системы воровства и захвата теплых мест, а также в способности держать монополию на черном рынке, не должно заслонять другого: отвращение к бессмысленной жестокости, потрясающая способность сохранять человеческое достоинство сделали греков самым крепким национальным сообществом лагеря, а в силу этого — и самым цивилизованным.

На черном рынке можно встретить тех, кто специализируется на воровстве продуктов: под куртками у них подозрительные вздутия. Если на суп держатся более или менее твердые цены (полпайки хлеба за литр), то котировки репы, моркови и картошки крайне неустойчивы и зависят, помимо многих иных факторов, от appetитов той или иной смены складских дежурных.

Продается здесь и махорка. Махорка — это табачные отходы, сплошные щепки; расфасованная в пакеты по пятьдесят граммов, она официально отпускается в лагерном ларьке по талонам, которыми награждаются в Буне лучшие работники. Распределяются эти премиальные талоны нерегулярно, скудно и откровенно несправедливо, так что в конечном счете большая их часть, напрямую или путем махинаций, попадает в руки капо и придурков. Но, как бы там ни было, талоны на лагерном черном рынке имеют хождение денег, и их стоимость колеблется в строгом соответствии с классическими законами экономики.

Бывали моменты, когда на один премиальный талон можно было купить пайку хлеба, бывало, что и пайку с четвертью, даже пайку и одну треть. Был такой день, когда за него давали целых полторы пайки, но едва в ларьке начались перебои с махоркой, талон, лишившись обеспечения, упал в цене до четверти хлебной нормы. Случались и времена его стремительного роста, вызванные особыми обстоятельствами, в частности, сменой контингента женского блока, когда там появились крепкие молодые полячки. И по-

сколько Frauenblock можно было посетить за один премиальный талон (уголовникам и политическим, но не евреям, которые, впрочем, не страдали из-за этого ограничения), заинтересованные лица принялись их быстро и активно скупать, отчего они обесценились, но, правда, ненадолго.

Простые хефтлинги приобретают обычно махорку не для того, чтобы самим курить: она уходит за пределы лагеря, к работающим в Буне по найму гражданским. Наиболее типичная схема «комбинации» следующая: хефтлинг, сэкономив каким-то образом свою хлебную пайку, инвестирует ее в махорку; потом, соблюдая предосторожности, входит в контакт с вольнонаемным курильщиком, который приобретает у него товар за наличные, а именно за хлеб, причем порция хлеба больше пайки, первоначально ассигнованной на покупку махорки. Прибыль хефтлинг съедает, а паечную норму снова пускает в оборот.

Благодаря такого рода спекуляциям крепи экономические связи лагеря с внешним миром. Когда у жителей Кракова, например, вдруг начался табачный дефицит, сей факт, преодолев ограждения из колючей проволоки, изолировавшие нас от человеческого сообщества, немедленно отозвался в лагере решительным ростом цен на махорку и, соответственно, на премиальные талоны.

Приведенный выше случай можно назвать классическим, а вот следующий уже отличается от типичной схемы: хефтлинг, в обмен на махорку, хлеб или получив от кого-то из вольных в подарок, обзаводится рваной грязной рубашкой, отвратительным тряпьем, которое можно отнести к вышеназванному виду одежды лишь благодаря наличию трех отверстий — для продевания рук и головы. Как бы ни был изношен этот предмет туалета, но, если на нем нет следов самовольно произведенных изыятий, он, когда объявляется Wäschetauschen, сходит за рубашку и подлежит обмену. Самое большее, что грозит предъявителю, — это пор-

ция ударов за то, что так небрежливо относился к казенному имуществу.

Поэтому на территории лагеря нет большой разницы в цене на рубашку, отвечающую своему наименованию, и на покрытые сплошными заплатами лохмотья. Хефтлинг, о котором идет речь, без труда находит среди товарищей владельца товарного качества рубашки, который сам реализовать ее не может из-за особенностей своей работы, незнания языков или полного неумения вступать в деловые отношения с вольнонаемными. Такой будет рад и скромному вознаграждению в виде определенного количества хлеба. Обладатели хорошего белья и плохого после очередного *Wäschetauschen* меняют статус: ведь предусмотреть, что кому достанется, — абсолютно невозможно. Предприимчивый хефтлинг контрабандно вынесет хорошую рубашку в Буну и продаст ее там кому-нибудь за цену от четырех до десяти хлебных паек. Дело прибыльное, но очень опасное: всегда рискуешь, когда на тебе при выходе из лагеря две рубашки, а при возвращении ни одной.

Эта тема очень многогранна. У некоторых нет иного выхода, как снять с зубов золотые коронки и продать в Буне за хлеб или махорку, но чаще всего такие сделки совершаются не напрямую, а через посредников. Большой номер (иными словами, вновь прибывший), которого голод и условия лагерной жизни довели за короткий срок до крайней черты, попадает благодаря своему дорогому зубному протезу в поле зрения Малого номера, старожила. Малый предлагает Большому освободиться от протеза за три-четыре хлебных пайки, и, если Большой соглашается, Малый номер с ним расплачивается, несет золото в Буну и, имея среди вольных надежного покупателя, который не настучит и не обманет, зарабатывает от десяти до двадцати паек, получая их частями, по одной, а то и по две пайки в день.

Торговля заключенных с вольными распространена широко и, как мы уже заметили, определяет экономи-

ческую жизнь. При этом по лагерным правилам торговля не только считается преступлением, но расценивается как преступление *политическое* и наказывается с особой строгостью. Хефтлинг, уличенный в Handel mit Zivilisten (в торговле с гражданскими), если у него не найдутся влиятельные заступники, будет переведен в Гливице III, в Янину или в Хайдебрек на угольные шахты. Это неминуемая смерть от истощения в течение нескольких недель. Вольнонаемные, если на них донесут немецким властям, отправляются в лагерь уничтожения (Vernichtungslager) на разные сроки; по моим сведениям, сроки эти колеблются от пятнадцати дней до восьми месяцев. Проштрафившиеся рабочие содержатся в тех же условиях, что и мы, у них так же, как и у нас, все при поступлении в лагерь отбирают, правда, отобранное имущество хранится потом на специальном складе. Их не клеймят номерными знаками, не бреют наголо, поэтому они всегда узнаваемы, но в течение всего срока наказания они выполняют ту же работу, что и мы, подчиняются той же дисциплине, что и мы; единственное, от чего они гарантированы, — так это от селекций.

Из них формируют особые команды, чтобы изолировать от любых контактов с обычными хефтлингами. Если бы они имели возможность с нами общаться, появилась бы брешь в стене, отделяющей нас от мира, для которого мы — мертвецы; приоткрылась бы тайна, окружающая условия нашего существования. Для них лагерь — это наказание, и если они не надорвутся на работе и не умрут от какой-нибудь болезни, то имеют довольно твердый шанс вновь вернуться к человеческой жизни. Для нас же лагерь — не наказание: ведь наказание определяется сроком, а наше нахождение здесь бессрочно; для нас лагерь не что иное, как раз и навсегда установленная форма нашего существования в германской социальной структуре.

И в нашем лагере один сектор отведен для вольнонаемных заключенных всех национальностей, которым

приходится здесь на протяжении какого-то времени искупать свою вину за недозволенные связи с хефтлингами. Этот сектор отделен от остального лагеря колючей проволокой и называется «E-Lager», по первой букве немецкого слова «Erziehung» — воспитание, а его обитатели соответственно — «E-хефтлинги».

Все случаи, о которых шла речь, относятся к махинациям с лагерными материальными ценностями, потому-то эсэсовцы так сурово и наказывают провинившихся. Даже золото у нас во рту — их собственность: сорванное с зубов живых или мертвых, оно в конечном счете оказывается в их руках. Естественно, что они прилагают максимум усилий, чтобы из лагеря оно не уходило.

Что же касается воровства за пределами колючей проволоки, тут лагерное начальство ничего против не имеет. И СС, как это неоднократно подтверждалось, потворствует контрабанде в обратном направлении.

Предметом воровства или скупки краденого являются всевозможные инструменты, детали, материалы, изделия, с которыми мы ежедневно имеем дело на работе. Особой хитрости не требуется, чтобы принести это в лагерь, найти покупателя и обменять на хлеб или суп. Такого рода обмена процветают. Многие вещи, без которых просто невозможно обойтись в повседневной жизни, регулярно попадают в лагерь одним-единственным путем: их воруют в Буне. Наибольшим спросом пользуются метлы, краска, электрический провод, вакса для башмаков. Последний из названных товаров может служить самым характерным примером торговли такого рода.

Как уже упоминалось, ботинки согласно лагерным предписаниям ежедневно нужно смазывать ваксой и начищать до блеска. Каждый блочный староста лично отвечает перед эсэсовцами за то, чтобы вакса в его бараке имелась в достатке и была доступна каждому. Из этого, казалось бы, должно вытекать, что запасы ваксы в бараках периодически пополняются, однако в дейст-

вительности это совсем не так. Известно, что в каждом баке вечернего супа количество литров намного превышает положенную на барак суммарную норму. Излишком распоряжается староста, распределяя его следующим образом: первыми получают добавку его дружки и любимчики, во вторую очередь — уборщики, ночные дежурные, контролеры вшей и прочие барачные придурки, с которыми он таким образом расплачивается. Все, что после этого еще остается (а у каждого предусмотрительного старосты всегда что-то остается), идет на приобретение нужного товара.

А дальше уже все ясно: те хефтлинги, которые в Буна имеют возможность наполнить свои котелки смазкой, солидолом или еще чем-нибудь в этом роде (годится любая вязкая субстанция черного цвета), вечером обходят бараки в надежде сбыть товар тому, кто в нем нуждается или хочет запастись впрок. Таким образом, чуть ли не каждый барак обретает в конце концов своего постоянного поставщика, получающего твердое ежедневное вознаграждение за бесперебойную поставку смазки для башмаков всякий раз, когда ее запасы в бараке подходят к концу.

По вечерам у входа в Tagesraum терпеливо дежурят несколько поставщиков. Они простаивают часами под дождем или снегом, возбужденно обсуждая вполголоса состояние цен на данный момент и котировки премиальных талонов. Иногда кто-то отделяется от группы и идет на рынок, чтобы узнать самые свежие новости.

Но ассортимент не ограничивается одной только смазкой для башмаков; Буна может предложить массу всего такого, что найдет спрос в блоке, вызовет живой интерес у придурков, порадует блочного старосту. Это электрические лампочки, щетки, мыло обычное и специальное, для бритья, напильники, клещи, мешки, гвозди. Продаются также метиловый спирт, из которого готовят выпивку, и бензин. Бензин идет на примитивные зажигалки (достижение лагерных умельцев в сфере подпольного производства).

В этой разветвленной сети воровства, в сложном взаимодействии встречных потоков, подпитанных глухой враждой между эсэсовцами и гражданским руководством Буны, на первом месте — санчасть. В санчасти все заодно, поэтому им легче обходить инструкции и обманывать бдительность начальства. Каждый в лагере знает, что санитары по низким ценам поставляют на внутренний черный рынок одежду и обувь умерших, а также тех, кто после селекции голым отправляется в Биркенау. Все те же санитары и врачи экспортируют в Буну больничные сульфамидные препараты, меняя их у вольных на продукты питания.

Помимо этого санитары получают огромные прибыли от торговли ложками. Лагерь не выдает ложек вновь прибывшим, хотя есть суп, пусть и водянистый, без ложки невозможно. Ложки тайком производятся в Буне. Урывая на работе свободную минуту, их делают хефтлинги, кузнецы и жестянщики из команд специалистов. Это грубое увесистое изделие из листового железа, выполненное с помощью молотка, часто имеет заточенную ручку и служит одновременно ножом для резки хлеба. Производители сами же и продают их новичкам. Простая ложка идет за полпайки, ложка-нож — за три четверти хлебной пайки. Что касается санчасти, то по инструкции поступить туда с ложкой можно, а выписаться нельзя. При выписке санитары отбирают ее, а потом продают на черном рынке. Если прибавить к ложкам вылеченных ложки умерших и выбывших при селекциях, то получится, что ежедневно санитары продают не меньше пятидесяти ложек. А поправившийся пациент должен оторвать от себя половину утренней пайки, чтобы, придя на работу, выложить ее за новую ложку.

С другой стороны, сама санчасть является крупным потребителем наворованного в Буне, ее главным клиентом. Ежедневно не меньше двадцати литров отпускаемого санчасти супа идет в фонд скупки краденого, на приобретение у специалистов самых разных вещей.

Пользуются спросом тонкие резиновые трубочки, их применяют для промывания кишечника и для взятия желудочного сока; цветные карандаши и чернила требуются для сложной системы учета и канцелярской писанины; градусники, стеклянные колбы, химические реактивы, которые хефтлинги выносят в своих карманах со складов Буны, хорошо берут в стационаре.

Добавлю без ложной скромности, что именно нам, Альберто и мне, пришла идея украсть в сушильном цехе несколько рулонов миллиметровки для термографа и предложить их главврачу Ка-бэ, убедив его, что они годятся для составления кривых пульса и температуры.

В заключение следует сказать: наказуемое гражданским начальством воровство в Буне дозволяется и даже поощряется ээсовскими властями; воровство в лагере, сурово преследуемое ээсовскими властями, расценивается гражданскими как обыкновенный обмен; воровство между хефтлингами, как правило, наказывается, причем и к вору, и к обворованному применяются одинаковые меры воздействия. А теперь приглашаем читателя задуматься над вопросом: что, по его мнению, могут означать в лагере наши слова «хорошо» и «плохо», «справедливо» и «несправедливо»? Пусть каждый рассудит сам на основании всего рассказанного нами и приведенных примеров, мог ли хоть один из общепринятых в нашем мире моральных принципов сохраниться там, по ту сторону колючей проволоки.

КАНУВШИЕ И СПАСЕННЫЕ

Жизнь, о которой здесь было и еще будет рассказано, — это обычная лагерная жизнь. В таких тяжелых условиях, придавленные ко дну, жили многие люди в те дни, каждый, правда, относительно недолго. Возможно, кто-то спросит, стоит ли, имеет ли вообще смысл хранить память об этих исключительных условиях существования.

Ответ на такой вопрос может быть только утвердительным. У нас нет сомнения в том, что любой человеческий опыт достоин осмысления и анализа, а уж тем более тот особый опыт, о котором здесь идет речь; изучение его позволяет сделать хотя и неутешительные, но бесспорные выводы. Мы, со своей стороны, постараемся доказать, что лагерь был гигантским биологическим и социальным экспериментом.

Заприте за колючей проволокой тысячи людей разного возраста, положения и происхождения, воспитанных в разных традициях и обычаях, говорящих на разных языках, лишите их возможности удовлетворять даже элементарные потребности, создайте постоянный, одинаковый для всех режим контроля — и вы получите идеальные условия для того, чтобы выявить экспериментальным путем, какие свойства были присущи человеку как представителю животного мира изначально, а какие он приобрел в процессе выживания.

Нельзя согласиться с упрощенным и наиболее распространённым мнением, будто человек, если отнять у него надстроечные структуры, созданные в процессе цивилизации, проявляет себя как жестокое, эгоистич-

ное и тупое существо и будто хефтлинг — не что иное, как человек без сдерживающих центров. На самом деле в условиях крайней нужды и физических лишений многие привычки и социальные инстинкты просто молчат.

Гораздо большего внимания заслуживает другое явление, а именно что лагерь выявляет два совершенно различных типа людей, назовем их спасенными и канувшими. Другие антонимические пары (хорошие и дурные, мудрые и глупые, трусливые и смелые, неудачники и удачливые) гораздо менее точны и выразительны, а кроме того, нуждаются в дополнительной градации.

В нормальной жизни деление людей на две выше-названные категории не так очевидно: редко случается, чтобы человек сгинул без следа, потому что обычно он не одинок, при взлетах и падениях он связан со своими близкими. Лишь в исключительных случаях кто-то достигает беспредельных высот могущества или, терпя поражение за поражением, доходит до полного краха. Уменьшить вероятность крушения каждому помогают его резервы — духовные, физические и материальные, кроме того, есть закон и есть внутренний закон — мораль; и то и другое смягчает удар, дает силы удержаться на плаву. Недаром более цивилизованной считается страна, где эффективно действуют умные законы, не позволяющие слабым быть слишком слабыми, а сильным — слишком сильными.

В лагере все наоборот: здесь борьба за жизнь беспощадна, потому что каждый — безнадежно, жестоко одинок. Если какой-нибудь Ноль Восемнадцать споткнется, ему не подадут руки, наоборот, даже столкнут с дороги, потому что никто не заинтересован в лишнем доходяге, который еле тащится на работу. Если же кто-нибудь чудом, благодаря нечеловеческой настойчивости и изворотливости, найдет способ уклониться от тяжелой работы, разжиться лишним граммом хлеба, он никому об этом способе не расскажет, за что его будут

только больше уважать, а это в свою очередь и ему выгодно: кто становится сильнее, того боятся, а кого боятся, тот, *ipso facto**, получает больше шансов выжить.

Жестокий постулат «кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет» далеко не всегда находит подтверждение в истории и в жизни. В лагере, где человек один и борьба за существование принимает первобытные формы, этот отвратительный закон действует неукоснительно, соблюдается всеми. С приспособленцами, с сильными и хитрыми даже капо охотно поддерживают отношения, а иногда и приятельствуют, ведь в будущем такое знакомство может пригодиться. Что касается доходяг, людей конченных, то с ними и разговаривать нет никакого смысла, поскольку, кроме жалоб и воспоминаний о домашней еде, от них ничего не услышишь. И уж совсем никакого смысла с ними дружить: выгодных знакомств через них не заведешь, едой у них не разживешься, они сами ничего, кроме рациона, не видят, на теплых местах не работают, «организовывать» не умеют. Но самое главное — все знают, что они здесь долго не задержатся: через несколько недель от таких доходяг не останется ничего, кроме горстки пепла в одном из близлежащих лагерей и вычеркнутого из картотеки номера. В нескончаемой и неисчислимой толпе себе подобных каждый отделен глухой стеной одиночества, и так, одиночками, они умирают или исчезают, не оставив следа ни в чьей памяти.

О результатах этого беспощадного процесса естественной селекции можно узнать из лагерной статистики. В Освенциме к 1944 году из первого потока заключенных евреев (о других мы не говорим, у других были другие условия), из *kleine Nummer* — малых, до ста пятидесяти тысяч, номеров — выжили несколько сотен, и среди них *ни одного* работяги, то есть ни одного заключенного, надрывавшегося на общих рабо-

* В силу одного этого (*лат.*).

тах и кормившегося по узаконенной норме. В живых остались только врачи, портные, сапожники, музыканты, повара, молодые привлекательные гомосексуалисты, приятели или земляки лагерных авторитетов, а также особо безжалостные, бесчеловечные, энергичные личности, которых эсэсовцы, демонстрируя сатанинское знание человеческой природы, назначали на должности капо, блочных старост и т.д. Еще выжили те, кто хоть и не занимал никаких мест, но благодаря своей сообразительности и деловитости с успехом что-то «организовывал», приобретая при этом не только материальные выгоды и репутацию, но и покровительство тех, кто имел в лагере власть. Кто не смог стать *организатором*, *комбинатором* или *придурком* (как выразительны эти страшные термины!), тому была одна дорога — в доходяги. Третьего в концентрационном лагере не дано, хотя в обычной жизни третий вариант существует.

Стать доходягой проще простого. Для этого нужно никогда не нарушать заведенного порядка, не есть ничего сверх положенного рациона, выполнять все требования, предъявляемые к хефтлингу на работе и в лагере. Опыт показывает, что при соблюдении этих условий лишь в исключительных случаях можно протянуть больше трех месяцев. Все доходяги, которые были отправлены в газовые камеры, имели одну и ту же историю, а точнее сказать, не имели никакой истории: они просто спускались все ниже и ниже, до самого дна, как горный ручей, который течет и течет, пока не достигнет моря. Вступив в лагерь, они либо от присущей им беспомощности, либо от невезения, либо по неблагоприятному стечению обстоятельств быстро оказывались сломленными, не сделав даже попытки приспособиться: не учили немецкий, не старались разобраться в чудовищной путанице инструкций, положений и запретов, а превращались в ходячие трупы, и ничто уже не могло спасти их от селекции или от смерти в результате истощения.

Жизнь их коротка, а количество неисчислимо, это они — *Muselmänner*, доходяги, канувшие — нерв лагерь; это они, каждый раз другие и всегда одни и те же, бредут в молчании безымянной толпой, с трудом передвигая ноги; это они, уже не люди, с потухшим внутренним светом, слишком опустошенные, чтобы испытывать страдание. Трудно назвать их живыми, трудно назвать смертью их смерть, перед лицом которой они не испытывают страха, потому что слишком устали, чтобы ее осознать.

Они живут в моей памяти без лиц, и, если бы мне дано было создать образ, вмещающий в себя все зло, причиненное в наше время человеку, я изобразил бы так хорошо знакомое мне изможденное существо со сторбленной спиной и понурой головой, в лице и в глазах которого нельзя прочесть и намека на мысль.

Если у всех канувших одна отсутствующая история и одна прямая дорога в небытие, то к спасению ведут разные пути — тернистые и непредсказуемые.

Главный из них, как мы уже отмечали, — путь наверх, в придурки. Придурками называются все, кто не работает на общих работах, а имеет в лагере должность, начиная от лагерного старосты (*Lagerältester*), капо, санитаря, ночных дежурных и кончая подметальщиком барака, начальником сортира (*Scheissminister*) и банщиком (*Bademeister*). Особого интереса заслуживают придурки-евреи, поскольку, если все другие, попав в лагерь, обзаводятся должностью автоматически, в силу своего естественного превосходства, еврей добивается ее путем интриг и жесткой борьбы.

Придурки-евреи — явление грустное и примечательное. Сегодняшнее страдание в соединении с прошлым, древним страданием и традиционной, воспитанной с детства, враждебностью к чужаку превращает их в асоциальных, бесчувственных чудовищ. Они типичный продукт немецкой лагерной системы: когда людям в состоянии рабов предлагаются определенные блага, привилегированное положение и не-

плохой шанс выжить, пусть даже в обмен на предательство по отношению к товарищам, — хоть один желающий, да найдется всегда. Он уже не подпадает под общий закон, уже неприкосновенен. Чем больше у него власти, тем ненавистнее он всем, тем больше ненависти вызывает. Если ему дано право командовать горсткой несчастных, решать, жить им или умереть, он становится беспощадным тираном, потому что понимает: в противном случае на его место поставят другого, более подходящего. Кроме того, весь запас ненависти к угнетателям, которую он не может проявить, направляется им бессознательно на угнетенных: он только тогда почувствует удовлетворение, когда обиды, нанесенные ему сверху, выместит на тех, кто под его властью.

Мы понимаем, все это далеко от привычной картины, рисующей угнетенных, которые объединяются если не для борьбы, то по крайней мере для того, чтобы легче было перенести свое положение. Мы не исключаем, что такое возможно, но в случаях, когда угнетение не переходит определенного предела или когда угнетатель по неопытности или великодушию мирится с подобным положением или ему потворствует. В наши дни во всех странах, подвергшихся иностранному вторжению, мы можем наблюдать аналогичное проявление соперничества и ненависти между покоренными, но в лагере этот человеческий фактор, как и многие другие, проявлялся с особой очевидностью и беспощадностью.

О придурках-нееврейях говорить особенно нечего, хотя их было несравненно больше: ни один заключенный «ариец» не оставался без должности, пусть даже и совсем скромной. То, что они отличались тупостью и жестокостью, — вполне естественно, ведь в большинстве это были обычные уголовники, которых специально отбирали по немецким тюрьмам для надзора над хефтлингами в еврейских лагерях. Хочется думать, что отбирать было не просто, иначе можно было бы пове-

речь, что те отвратительные личности, с которыми мы имели дело в лагере, являлись если не типичными немцами вообще, то уж по меньшей мере типичными немецкими заключенными. Еще труднее объяснить, почему придурки из политических немцев, из поляков и русских соперничали в жестокости с обыкновенными преступниками. Впрочем, известно, что в Германии к разряду политических правонарушений относились и подпольная торговля, и интимная связь с еврейками, и воровство у партийных функционеров. Настоящие политические содержались и умирали в других, теперь уже печально известных лагерях, в других хоть и жесточайших, но по многим параметрам отличных от описанных выше условиях.

Но кроме так называемых должностных существовала обширная категория не обласканных судьбой заключенных, которым приходилось бороться за выживание собственными силами: плыть против течения, ежедневно и ежечасно сопротивляться физической усталости, холоду, голоду и характерной для ослабевшего человека апатии, противостоять врагам и не жалеть соперников, оттачивать ум, закалять терпение, укреплять волю. А еще усыплять чувство собственного достоинства, гасить малейшие проблески совести, зверем вступать в звериные схватки, вверяя себя непредсказуемым силам тьмы, на которые в крутые времена опираются целые сообщества и отдельные люди. Существовало множество путей, спасавших от смерти, столько же, сколько человеческих характеров, но все они были путями изнурительной борьбы одного против всех, и многие требовали изворотливости и компромиссов. Спасение без отказа от нравственных принципов, без прямого мощного вмешательства фортуны было по плечу лишь личностям исключительным, масштаба великомучеников и святых.

Чтобы показать, какими способами можно было достичь спасения, мы расскажем истории Шепшеля, Альфреда Л., Элиаса и Генри.

Шепшель в лагере уже четыре года. Начиная с погрома, выгнавшего его из родной деревни в Галиции, вокруг него погибли десятки тысяч ему подобных. У него были жена и пятеро детей, была доходная шорная лавка, но все это осталось далеко позади, и теперь он думает о себе не иначе как о емкости, требующей периодического наполнения. Не сказать, что Шепшель очень крепкого здоровья, очень смелый или очень плохой, да и особенно хитрым его не назовешь: ему ни разу не удалось устроиться так, чтобы можно было хоть ненадолго перевести дух; единственное, на что хватает его изворотливости, это мелкие эпизодические махинации — так называемые kombinacje.

Время от времени он крадет в Буне метлы и сбывает их старосте блока; когда удастся накопить немного драгоценного хлеба — арендует инструмент у своего земляка-сапожника и подрабатывает починкой обуви; еще он умеет плести из электрического провода подтяжки; Зиги рассказывал мне, что видел его в обеденный перерыв у бытовки словацких рабочих — он пел и плясал в расчете заработать остатки их супа.

Все это, казалось бы, может даже вызвать снисходительную симпатию к Шепшелю. В самом деле, человек он на первый взгляд безобидный, им движет естественное желание выжить, и ради того, чтобы не погибнуть, он ведет свою маленькую храбрую борьбу. Но Шепшель — не из исключительных личностей, и, когда подворачивается случай, он, не задумываясь, доносит на своего сообщника по кухонной краже Мойше, приговаривая его тем самым к наказанию плетью, в надежде (ни на чем не основанной) завоевать своим поступком расположение старосты и предложить ему свою кандидатуру на должность мойщика супных термосов.

История инженера Альфреда Л. демонстрирует, помимо всего прочего, несостоятельность мифа, будто все люди равны от рождения.

Л. руководил у себя на родине очень большим химическим производством, его имя знали (и знают) в индустриальной среде всей Европы. Это был крупный человек лет пятидесяти. Не знаю, как его арестовали, но в лагерь он вошел как все — голым, одиноким и безвестным. К тому времени, когда я с ним познакомился, он успел ослабеть и похудеть, но его лицо еще хранило следы волевого, собранного, организованного характера. В тот момент все его привилегии сводились к мытью термоса, в котором получали обед польские рабочие. За эту работу (каким уж чудом он ее добился — неизвестно) он имел полкотелка супа ежедневно. Конечно, этого было недостаточно, чтобы утолить голод, тем не менее никто и никогда не слышал, чтобы он плакался. Наоборот, из скупко оброненных им слов можно было заключить, что у него есть доступ к тайному неистощимому источнику, к бесперебойной «организации».

Внешний вид Л. также это подтверждал, он «держал марку»: его лицо и руки всегда были безупречно чистыми, каждые две недели он чуть ли не единственный героически стирал свою рубашку, не дожидаясь очередного обмена (заметим, что для стирки нужно найти мыло, найти время, найти место в переполненной умывальне, зорко, не спуская ни на минуту глаз, следить за выстиранной рубашкой, пока она сохнет, и уже в темноте, после отбоя, надевать ее на себя недосушенной); он был обладателем собственных деревянных сабо для душа, даже полосатые куртка и штаны идеально подходили к его фигуре, выглядели новыми и чистыми. Не будучи еще придурком, Л. делал все, чтобы его за такового принимали, и уже гораздо позднее я узнал, с каким невероятным упорством добивался он этого показного благополучия, расплачиваясь за каждое приобретение или услугу из своего скудного лагерного пайка и обрекая себя на еще большие лишения.

У него были далеко идущие планы, и это тем более примечательно, что зрели они в условиях полной

нестабильности, когда все вокруг говорило о недолговечности, временности. Л., однако, последовательно и планомерно шел по пути их осуществления, не жалея ни себя, ни встречавшихся на пути товарищей. Он знал: от значительного вида до значительного положения на самом деле всего шаг и повсюду, но особенно на фоне лагерной безликости респектабельная внешность — наиболее гарантированный способ достичь респектабельности. Он делал все, чтобы выделиться из общей массы: работал с показным рвением, не упуская случая укорить товарищей и призвать их не лениться, не участвовал в ежедневных потасовках за лучшее место в очереди во время раздачи супа, а, наоборот, первым протягивал котелок, довольствуясь самой жидкой порцией, лишь бы староста отметил его дисциплинированность. С товарищами он держался в высшей степени вежливо, подчеркивая отделяющую его от них дистанцию, и эта его сверхвежливость была обратной стороной его сверхэгоизма.

Когда начала создаваться химическая команда, о чем речь пойдет ниже, Л. понял, что его час настал. В группе грязных, оборванных коллег он выделялся чистой одеждой и выбритым лицом, чем сразу же привлек к себе внимание капо и Arbeitsdinst, угадавших в нем потенциального придурка. Его незамедлительно произвели в ранг «специалиста» (кто имеет, тому дано будет), назначив старшим технологом команды, а дирекция Буны еще и взяла его в отдел стиролола лаборантом. В дальнейшем ему доверили экзаменовать тех, кого дополнительно набирали в команду химиков, чтобы удостовериться в их профессиональной пригодности. Он всегда был крайне строг, но особенно с теми, в ком подозревал возможных соперников.

Его дальнейшая судьба мне неизвестна, но вполне вероятно, что он избежал смерти и живет сегодня холодной жизнью безжалостного, не знающего радости властелина.

Непонятно, каким образом Элиас Линдцин, номер 141565, вдруг появился в химической команде. Был он карлик, не выше полутора метров, но я никогда еще не видел такой мускулатуры, как у него. Когда смотришь на его голое тело, то можно различить каждую мышцу, она двигается под кожей самостоятельно, точно живое существо. Если, не нарушая пропорций, немного увеличить его тело, то получится идеальная модель Геракла.

Единственное, на что лучше не смотреть, — так это на голову. На обритом массивном черепе, который кажется отлитым из металла или высеченным из камня, четко видны все выпуклости и впадины. От границы волос до бровей расстояние от силы в палец. Нос, подбородок, лоб, скулы твердые и напоминают сжатый кулак, это не лицо, а таран, орудие большой сокрушительной силы. И сам он крепкий, выносливый, в нем чувствуется что-то звериное.

Работающий Элиас — зрелище завораживающее. Польские мастера, даже немцы иной раз останавливаются, чтобы им полюбоваться. Кажется, ему все по плечу. Если мы с трудом таскаем по одному мешку цемента, то Элиас таскает сразу по два, по три, даже по четыре. Часто переступая короткими крепкими ногами, он ухитряется необъяснимым образом удерживать в равновесии груз и одновременно строить рожи, смеяться, сквернословить, рычать и петь без передышки, словно у него луженая глотка. В таких же, как у всех, башмаках на деревянной подошве он с обезьяньей ловкостью карабкается по строительным лесам и бесстрашно бегаёт на высоте по балкам, носит на голове по шесть кирпичей, может из куска жести сделать ложку, а из полоски стали — нож; везде подбирает бумагу, дрова, уголь и в считанные секунды разводит костер, даже под дождем. Он и портной, и столяр, и сапожник, и брадобрей, он плюёт на невероятное расстояние, поёт низким и довольно приятным голосом, с первого раза запоминает польские и еврейские песни, вливает в

себя шесть, восемь, десять литров супа, тут же возвращается к прерванной работе, и его не рвет и не проносит. Он паясничает перед лагерными придурками, изображая то горбуна, то паралитика, визжа и выкрикивая что-то непонятное под одобрение зрителей. Я видел, как он боролся с поляком гораздо выше себя ростом и уложил его прицельным и сильным ударом головы в живот. Я никогда не замечал, чтобы он отдышал, стоял или молчал, никогда не слышал, чтобы он болел или получил травму.

О его прежней жизни, жизни свободного человека, никто ничего не знал, да и представить себе Элиаса в облике свободного человека можно лишь теоретически или при богатом воображении. Он говорит только польски и на идише с уродливым варшавским выговором, впрочем, вести с ним нормальный разговор все равно немислимо. Ему можно дать двадцать лет, а можно и сорок, сам он утверждает, что ему тридцать три и он уже заделал семнадцать детей. Вполне вероятно. Он говорит не закрывая рта о самых разных вещах, всегда громко, ораторским тоном, с ужимками дикаря, в расчете на публику, в которой никогда нет недостатка. Те, кто его понимают, жадно ловят каждое слово, давятся от смеха, возбужденно хлопают его по плечу, прося продолжать. Бывает, он вдруг хмурится, злится, начинает, как зверь, метаться по кругу между слушателями, накидываясь то на одного, то на другого, иногда хватая кого-то за грудки своими короткими цепкими лапами, резко притягивает к себе, изрыгает в лицо какое-то оскорбление, потом отбрасывает от себя и под аплодисменты и общий смех, как бесноватый пророк, простирает к небу руки и продолжает свое яростное безумное говорение.

О нем очень быстро разнеслась слава как об исключительном работнике, и по абсурдной лагерной логике после этого он практически перестал работать. Элиас подчинялся непосредственно мастеру, использовавшему его лишь в особых случаях, когда требовались сно-

ровка и сила, в остальное время он, не скупясь на издевательства и жестокость, управлял нами, занятыми серым каждодневным трудом, или исчезал в каких-то таинственных уголках стройки, возвращаясь оттуда с раздутыми карманами либо с раздутым животом.

Воровство — естественное свойство натуры Элиаса, оно сродни врожденной хитрости дикого животного. Его невозможно поймать за руку, потому что он не станет воровать, пока не представится безопасный случай, зато, если такой случай представится, Элиас украдет обязательно, это как дважды два. Столь же бессмысленно, как пытаться уличить Элиаса в краже, наказывать его за кражи: для него это жизненная потребность, почти как дышать и спать.

Можно поразмышлять, что же за человек этот Элиас. Если он сумасшедший, обитающий вне общества, в своем непонятном мире, значит, в лагерь попал случайно. Если он дикое существо, которого не коснулась цивилизация, значит, ему легче приспособиться к первобытным условиям лагерной жизни. Но возможно, он — продукт лагеря, и мы станем такими, если не умрем или если не умрет лагерь.

Скорее всего, Элиас и то, и другое, и третье. Он спасся от физического истребления, потому что физически неистребим; он устоял перед духовным уничтожением, потому что бездуховен. В любом случае он выжил потому, что является существом более приспособленным, более пригодным к такой форме жизни.

Если Элиас обретет свободу, то вряд ли ему найдется место в людском сообществе, скорее всего, он окажется в тюрьме или сумасшедшем доме. Здесь, в лагере, нет ни преступников, ни сумасшедших. Первых — потому что нет нравственных законов, которые можно было бы нарушить, вторых — потому что мы предсказуемы: любое наше действие в условиях данного места и времени — единственно возможное.

В лагере Элиас процветает, живет победителем. Он умеет работать и умеет «организовывать» — это двой-

ная защита от селекций, за это его уважают капо и товарищи. У кого нет достаточных внутренних ресурсов, чтобы сохранить жизнь, собственного духовного источника, из которого черпать силы, у того есть только один путь к спасению — превратиться в звероподобное, недоразвитое существо, стать как Элиас.

Возможно, кто-то после всего сказанного начнет делать обобщения, проводить сравнение с обычной жизнью. Разве нет вокруг нас, скажет он, подобных элиасов, разве не встречаются время от времени личности, у которых отсутствуют жизненные цели, самоконтроль, интеллект? Однако они живут, причем не вопреки, а скорее *благодаря* своим недостаткам.

Это серьезная проблема, но мы не будем в нее углубляться, поскольку о человеке, живущем в обычных условиях, написано достаточно, мы же говорим о человеке в лагере. Что касается Элиаса, хотелось бы добавить только одно: насколько мы можем и имеем право о нем судить — он, скорее всего, был существом счастливым.

В отличие от Элиаса, Генри — человек мыслящий и в высшей степени цивилизованный, он изобрел сложную теорию о методах выживания в лагере. Ему двадцать два года, он очень умен, владеет французским, немецким, английским, русским, разносторонне образован.

После того как его брат погиб этой зимой в Буне, он стал абсолютно бесчувственным, закрылся в своей скорлупе и сосредоточенно, всеми способами, которые подсказывают ему живой интеллект и блестящее воспитание, борется за жизнь. По теории Генри, есть три способа избежать смерти, при которых человек не рискует лишиться звания человека: это «организация», жалость и воровство.

Сам он пользуется всеми тремя. Никто не умеет лучше него обходить вокруг пальца (он называет это

«обрабатывать») английских военнопленных — в его руках они превращаются в несущих золотые яйца кур (представьте себе, что благодаря одной-единственной английской сигарете можно быть сытым целый день). Однажды даже видели, как Генри ел настоящее крутое яйцо.

Главный источник дохода для Генри — «организация»: вся торговля английским товаром в его руках; что же касается умения войти в доверие к англичанам и всем остальным — то способ тут один: жалость. У Генри субтильная фигура, нежно-порочное лицо святого Себастьяна, глубокие черные глаза. Он еще не бреется, его движения полны томного изящества (при том, что он умеет, когда надо, бегать и прыгать, как кошка, а возможности его желудка едва ли не превосходят возможности Элиаса). Генри прекрасно знает о своих природных данных и пользуется ими с холодной профессиональной компетентностью как средством для достижения нужного ему результата. А результаты, надо сказать, просто ошеломительные, речь может даже идти о научном открытии. Суть его в том, что жалость, по утверждению Генри, чувство первобытное и бессознательное, на хорошо возделанной почве оно дает быстрые всходы, причем в первую очередь — в примитивных душах дикарей, тех злодеев, которые нами командуют, беспричинно нас избивают и, если мы падаем под ударами, топчут ногами на земле. От Генри не ускользнула большая практическая польза этого открытия, и он использовал его для своей выгоды.

Как паразитирующий в жирных волосатых гусеницах ихневмон способен одним точным уколом в жизненно важный центр парализовать свою жертву, так и Генри достаточно одного взгляда, чтобы выбрать нужный объект, подходящего донора, *son type*, как он выражается. Потом он заводит короткий разговор, обязательно на родном языке «объекта», который слушает с возрастающей симпатией, сочувствует судьбе несчаст-

ного юноши, и скоро уже его можно брать голыми руками.

Не было ни одной, самой ожесточенной души, к которой Генри не нашел бы подхода, если брался за дело всерьез. И в лагере, и в Буне ему покровительствовали многие: английские солдаты, вольные рабочие французы, украинцы, поляки, «политические» немцы, по крайней мере четыре блочных старосты, один повар и даже эсэсовец. О санчасти и говорить нечего — там для Генри было полное раздолье. Доктор Цитрон и доктор Вайс не просто покровительствовали ему, но были его большими друзьями, поэтому в Ка-бэ он чувствовал себя как дома. Ложился туда, когда хотел, на сколько хотел и с любым диагнозом, какой ему нравился. Когда намечались селекции или работа была особенно тяжела, он, по его собственному выражению, отправлялся туда «на зимовку».

Естественно, что при таких солидных связях Генри крайне редко прибегал к воровству, да и распространяться на эту тему он не особенно любил.

В минуты отдыха беседовать с Генри очень приятно. И даже полезно: никто не сравнится с ним в таком доскональном знании лагерной жизни, о которой он рассуждает в свойственной ему немногословной, сжатой манере. О своих достижениях он, как воспитанный человек, говорит скромно, будто все это мелочи, зато с удовольствием рассказывает о подготовительной работе, о том, как заранее рассчитывает, что для сближения с Гансом надо спросить его про сына, который сейчас на фронте, а Отто продемонстрировать шрамы на ноге.

Да, говорить с Генри полезно и приятно. Иногда кажется, что между ним и тобой возникает теплота, симпатия, устанавливается взаимопонимание, даже близость. Возникает иллюзия, что он открыл тебе свою страдающую душу, впустил в тайники своих мыслей. Но уже через секунду грустная улыбка на его лице превращается в холодную, словно отработанную перед

зеркалом маску, Генри вежливо извиняется («...j'ai quelque chose à faire», «...j'ai quelqu'un à voir»*), снова уходит в себя и — жесткий, чужой, враждебный ко всем, непостижимый и хитрый, как библейский Змей, — возвращается к своей охоте, к своей борьбе.

После всех разговоров с Генри, даже самых дружеских, оставался легкий привкус поражения, смутное подозрение, что и я для него не человек, а лишь оружие, которым он легко манипулирует.

Я знаю, что Генри жив. Мне очень хотелось бы узнать, как он живет на свободе, но встретаться с ним желания у меня нет.

* Мне надо кое-что сделать, мне надо кое-кого повидать (фр.).

ЭКЗАМЕН ПО ХИМИИ

Девяносто восьмая, или, как ее называли, химическая, команда должна была состоять из специалистов.

В день, когда объявили о ее создании, на площади для переключек в серых предрассветных сумерках пятнадцать хефтлингов сбились в кучку вокруг нового капо.

И сразу же разочарование: он — «зеленый треугольник», значит, из уголовников; в Arbeitsdienst посчитали, что капо химической команды совсем не обязательно должен быть химиком. Задавать такому вопросы — пустое дело: все равно не ответит, а то еще наорет или побьет. Впрочем, он не производил впечатления силача, и роста был ниже среднего, это несколько обнадеживало.

Разочарование еще больше усилилось, когда он произнес краткую речь на немецком казарменном жаргоне. Химики, значит? Ладно, пусть так. А он — Алекс, и, если кто думает, что попал в рай, тот сильно ошибается. Во-первых, пока не начнется производство, девяносто восьмая будет работать при складе хлорида магния как обыкновенная транспортная команда. Во-вторых, пусть не воображают, что если все они тут — ученые, интеллигенция, то смогут водить за нос его, Алекса, немца из рейха, он им покажет, где раки зимуют, ей-ей, покажет... (Алекс грозит пальцем перед нашими носами.) И последнее. Если кто надумал схитрить и назвался химиком, а на самом деле никакой не химик, этот номер не пройдет! В ближайшие дни их ждет экзамен, так-то вот, meine Herren*, экзамен по химии, и принимать его бу-

* Мои господа (нем.).

дуг три профессора из отдела полимеров — доктор Хаген, доктор Пробст и инженер Паннвитц. Ну хватит болтать, и так уйму времени потеряли, девяносто шестая и девяносто седьмая уже тронулись, вперед, шагом марш, а для начала, кто собьется с ноги или нарушит строй, тому не поздоровится.

Капо как капо, все они такие.

По территории лагеря мимо оркестра через контрольный пост СС маршируем пятерками, сняв шапки, руки по швам, голова прямо, разговаривать запрещено. За воротами перестраиваемся по трое, и теперь уже можно рискнуть перекинуться парой слов под стук десяти тысяч пар деревянных сабо.

Кто они, мои товарищи химики? Рядом шагает Альберто, он студент третьего курса, нам и на этот раз удалось не разлучиться. Третьего в своем ряду я не знаю: судя по номеру — он из Голландии, на вид совсем молодой, лицо бледное, точно восковое. Три спины перед собой я тоже вижу впервые. Назад оборачиваться опасно, можно сбиться с ноги или споткнуться, но я все же решаюсь и, быстро повернув голову, вижу Исса Клаузнера.

Пока идешь, думать некогда; надо быть начеку, чтобы не наступить на задник идущего впереди и чтобы идущий сзади не наступил на твой, чтобы не зацепиться за провод и не поскользнуться в грязной жиже. Места мне знакомые, я уже бывал здесь со своей предыдущей командой, улица, по которой мы идем, называется Н-Strasse, она ведет к складам. Мы и вправду идем к складу хлорида магния, говорю я Альберто, так что, может, все это и не вранье.

Наконец пришли, спускаемся в большой сырой подвал, где отовсюду дует. Теперь это наша бытовка, или, как здесь говорят, Bude. Капо делит нас на три группы: четверо должны выгружать мешки из вагонов, семь человек — таскать их вниз, еще четверо — укладывать в штабель. Я в последней группе вместе с Альберто, Иссом и голландцем.

Сейчас уже и поговорить можно. То, что сказал Алекс насчет экзамена, всем нам кажется полным бредом.

С пустыми лицами, бритыми головами, в этой позорной одежде — сдавать экзамен по химии, да еще наверняка на немецком языке! Сдавать какому-то белобрысому арийцу-профессору, моля Бога, чтобы не потекло из носа, ведь он, возможно, не знает, что у нас нет носовых платков, да даже если ему и сказать, что толку? Мы будем стоять перед ним вместе с нашим неразлучным спутником голодом, стараясь унять дрожь в коленях, и он обязательно почувствует наш запах, к которому сами мы уже принюхались, а в первые дни он преследовал нас, этот тяжелый дух непереваренной репы и капусты.

Такие вот дела, подытожил Клаузнер. Неужели немцам не хватает химиков? Или это очередной финт, еще один способ *pour faire chier les Juifs*?* Они вообще-то понимают, что это просто смех, дикость какая-то экзаменовать нас, уже неживых, наполовину потерявших разум в ожидании конца?

Клаузнер показывает мне свой котелок. На дне, где все выцарапывают свой номер, где мы с Альберто нацарапали наши имена, Клаузнер написал: *Ne pas chercher à comprendre***.

И хотя думаем мы не больше одной минуты в сутки, да и то поверхностно и несвязно, мы прекрасно понимаем: у нас один конец — селекция. Мне ясно, я не из породы сильных, не из тех, кто способен бороться за жизнь: интеллигент, слишком еще много думаю, работа выматывает меня. И еще мне ясно, что спастись я смогу, если попаду в СПЕЦИАЛИСТЫ, а в СПЕЦИАЛИСТЫ можно попасть, только сдав экзамен по химии.

* Поиметь евреев (*фр.*).

** Не пытаться понять (*фр.*).

Сегодня, в моем настоящем сегодня, когда я сижу за столом и пишу это, мне самому не верится, что все это было на самом деле.

Прошли три дня, три обычных незапоминающихся дня, которые, пока тянутся, кажутся очень длинными, а когда проходят — очень короткими, и никто уже не верил в этот экзамен.

Команда сократилась до двенадцати человек: трое исчезли, как обычно там исчезали, — может, их перевели в другой барак, а может, и отправили на тот свет. Из двенадцати оставшихся пятеро оказались не химиками; все они попросили у Алекса разрешения вернуться в свои прежние команды. И хотя побоев они не избежали, их совершенно неожиданно и неизвестно по чьему распоряжению оставили во вспомогательном составе химической команды.

К нам в подвал спускается Алекс и вызывает наверх семерых, в том числе меня, чтобы держать экзамен. Как желторотые цыплята за наседкой, мы поднимаемся по лестнице за Алексом в отдел полимеров. На площадке останавливаемся перед дверью с табличкой, на которой три уже известные нам фамилии. Алекс деликатно стучит, сдергивает с головы шапку, входит, из-за двери доносится спокойный голос, Алекс возвращается.

— Ruhe jetzt. Warten, — говорит он, — теперь тихо, ждите.

Это нам по душе. Когда ждешь, время идет само собой, его не нужно подгонять, а когда работаешь, каждая минута сопротивляется, и, чтобы преодолеть ее, требуется огромное напряжение сил. Ждать — это мы с удовольствием, ждать мы согласны часами, с тупым терпением паука, застывшего в сетке старой паутины.

Алекс нервничает, ходит по площадке взад и вперед, и мы всякий раз расступаемся, давая ему дорогу. Сами мы тоже волнуемся, каждый по-своему, только

Менди спокоен. Менди — раввин. Он родом из России, из Закарпатья, где перемешано столько национальностей, что все говорят минимум на трех языках, а Менди говорит на семи. Он знает множество вещей, он не только раввин и воинственный сионист, но еще и бывший партизан, филолог, доктор юриспруденции; не химик, но решил рискнуть. Он цепкого ума, этот маленький упорный и доброжелательный человек.

У Баллы есть карандаш, и мы окружаем его. Хотим попробовать, не разучились ли мы писать, ни у кого нет в этом уверенности.

Kohlenwasserstoffe — углеводы, Massenwirkungsgesetz — закон действующих масс... В моей голове всплывают немецкие названия элементов и законов, и я испытываю благодарность к своей памяти, которая, хоть я и не слишком о ней заботился, продолжает мне верно служить.

Поглощенный мыслями о химии, я вижу Алекса и не сразу понимаю, при чем здесь он. Алекс становится передо мной, грубо поправляет воротник моей куртки, сдергивает с меня шапку, но тут же снова нахлобучивает ее мне на голову, потом, отступив на шаг, оценивает с недовольным видом результат и, уже повернувшись ко мне спиной, бурчит:

— Was für ein Muselmann Zugang (тоже мне приобретение, этот доходяга)!

Дверь открывается. Три профессора решили, что до обеда проэкзамենуют только шестерых. А седьмого не успеют. Седьмой — это я, мой номер больше, поэтому придется вернуться на работу. Не повезло! Алекс придет за мной только во второй половине дня, и мне не удастся узнать у остальных, «что спрашивали».

Но вот наконец и моя очередь. Пока мы поднимаемся по лестнице, Алекс злится, он чувствует себя в какой-то степени ответственным за мой жалкий вид. Он не любит меня, потому что я — итальянец, потому что еврей и потому что среди всей команды меньше всех отвечаю его солдафонскому идеалу мужчины. Такой,

как я, считает Алекс, который сам ничего не знает, но очень гордится своим невежеством, ни за что не сдаст экзамена, и сомневаться нечего.

Мы входим. В комнате только инженер Паннвитц. Алекс с шапкой в руке объясняет вполголоса:

— ...итальянец, в лагере всего три месяца, но уже совсем капут... говорит, что химик... (У самого Алекса, судя по его виду, мнение совсем другое.)

Больше от Алекса ничего не требуется, и он отступает в сторону, а я стою перед инженером Паннвитцем, как Эдип перед Сфинксом. В голове у меня ясно, я ни на минуту не забываю, что поставлено на карту в этой игре, и все же испытываю безумное желание испариться, исчезнуть, не сдавать экзамена.

Паннвитц — высокий, худой, светловолосый; глаза, нос, волосы у него именно такие, какие и должны быть у всех немцев; он восседает за старинным письменным столом. Я, хефтлинг 174 517, стою в его кабинете, самом настоящем кабинете, сверкающем чистотой и порядком, и боюсь пошевелиться, чтобы ничего не испачкать.

Закончив писать, он поднял глаза и посмотрел на меня.

С того дня я много думал об инженере Паннвитце. Мне хотелось знать, как он ведет себя в личной жизни, чем занимается после работы, когда покидает полимерную лабораторию и уже не обязан демонстрировать свое индогерманское превосходство. Став снова свободным человеком, я мечтал встретить его, но не для того, чтобы отомстить, а из любопытства, чтобы разобраться в тайне человеческой души.

Дело в том, что посмотрел он на меня не таким взглядом, каким человек смотрит на человека, и, если бы я мог до конца разобраться в природе этого взгляда, словно направленного через стеклянную стенку аквариума на существо из другой среды обитания, я бы разобрался и в причинах великого безумия Третьего рейха.

В эту минуту все, что мы привыкли говорить и думать о немцах, полностью подтвердилось. В голове, посылавшей приказы голубым глазам и холеным рукам, я прочел: «Этот экземпляр передо мной бесспорно относится к виду, подлежащему уничтожению. Однако прежде, в порядке исключения, следует удостовериться, нельзя ли утилизировать его хотя бы частично». В моей же голове, как семечки в высушенной тыкве, перекатывались такие мысли: «Голубые глаза и светлые волосы — безусловные признаки зла. Взаимопонимание исключено. Я специализировался в области прикладной химии. Я специализировался в органических синтезах. Я специализировался...» И тут он начал задавать вопросы, а в углу тем временем у представителя третьего зоологического вида, Алекса, сводило скулы от зевоты.

— Wo sind Sie geboren?* — Главный инженер доктор Паннвитц говорит мне Sie — вы, причем без тени юмора. Ужасно, что он не старается произносить немецкие слова хоть немного понятнее.

— Я защитил диплом с отличием в Турине в тысяча девятьсот сорок первом году, — говорю я и ясно понимаю, что он мне не верит.

Честно говоря, я и сам себе не верю, глядя на свои израненные грязные руки, грязные штаны. И все-таки я и выпускник Туринского университета — одно и то же лицо, у меня уже нет в этом ни малейших сомнений, потому что кладовая моих знаний по органической химии, хоть в нее давно не заглядывали, послушно открывается под моим напором, и меня охватывает возбуждение, охватывает так хорошо знакомое мне чувство восторга, от которого начинает пульсировать в венах кровь; меня бросает в жар, как это обычно бывало на экзаменах, в *мой* жар на *моих* экзаменах, я чувствую, что все мои знания и умственные способности

* Где вы родились? (нем.)

мобилизуются сами собой, как когда-то в школе, за что мои товарищи всегда мне очень завидовали.

Экзамен идет хорошо. По мере того как я в этом убеждаюсь, я расту в собственных глазах. Теперь он спрашивает, на какую тему я писал свою дипломную работу. Мне приходится сделать над собой огромное усилие, чтобы вызвать глубоко запрятанные в недрах памяти обрывки воспоминаний: это все равно что пытаться вспомнить события из прошлой инкарнации.

Кажется, мне везет. Мои несчастные «Измерения диэлектрических постоянных» вызывают вдруг интерес у этого уверенного в себе белобрысого арийца: он спрашивает, знаю ли я английский, потом показывает мне книгу Гаттермана, что уже само по себе — полный абсурд: ведь это просто невероятно, чтобы здесь, за колючей проволокой, существовал Гаттерман, точь-в-точь такой же, как у меня дома, в Италии, по которому я учился на четвертом курсе.

Ну вот и все. Возбуждение сразу спадает, и я тупо, безучастным взглядом слежу за белой рукой, которая выводит на чистом листе бумаги непонятные знаки моей судьбы.

— Los, ab!* — На сцене появляется Алекс, теперь я снова под его юрисдикцией.

Вытянувшись перед Паннвитцем, Алекс щелкает каблуками, но в ответ не удостоивается даже легкого взмаха ресниц. Я секунду медлю, подыскивая соответствующую случаю формулу прощания, но тщетно: знаю, как будет по-немецки «есть», «работать», «воровать», «умереть», могу сказать «серная кислота», «атмосферное давление», «коротковолновый генератор», но как попрощаться с важной персоной — не знаю.

И вот мы опять на лестнице. Алекс прямо летит по ступеням: на нем кожаные башмаки, потому что он не еврей; он легконог, как дантовские бесы из Злых Щелей. Спустившись, он оборачивается и с раздражением ждет,

* Пошел, давай! (нем.)

пока я, гремя своими огромными непарными сабо и по-стариковски держась за перила, доковыляю донизу.

Похоже, все прошло удачно, но загадывать не стоит. Я уже знаю лагерь, знаю, что здесь никогда нельзя строить планов, тем более радужных. Достоверно одно: сегодня я не работал, а значит, к вечеру не так проголодаюсь, и это вполне реальная, вполне ощутимая удача.

Чтобы вернуться в Bude, нужно пересечь заваленное балками и всяким железным хламом пространство. Путь перегораживает стальной трос от лебедки, и Алекс, перелезая, хватается за него.

— Donnerwetter!* — Он смотрит на свою руку, запачканную черной жирной смазкой, и тут подхожу я. Без злобы, без ненависти он вытирает сначала ладонь, потом тыльную сторону руки о мою спину. Невинный дикарь Алекс! Как бы он удивился, скажи ему кто-нибудь, что именно за этот поступок я сужу его сегодня, а с ним Паннвитца и несметное число других, таких же, как они, больших и маленьких, в Освенциме и где бы то ни было.

* Черт возьми! (нем.)

ПЕСНЬ ОБ УЛИССЕ

Вшестером мы счищали ржавчину с внутренних стенок вкопанной в землю цистерны, куда дневной свет едва пробивался через небольшой верхний люк. В цистерне было холодно и сыро, но все равно, это была шикарная работа, потому что за нами никто не следил. От ржавой пыли щипало глаза, першило в горле, она скрипела на зубах, оставляя во рту вкус крови.

Затряслась сварная железная лесенка — кого-то к нам несет. Дойч затушил сигарету, Голднер разбудил Зивадьяна, все мы бросились яростно скоблить гулкие металлические стенки.

Ложная тревога. Это не прораб, а всего лишь эльзасец Жан, наш командный Píkolo, Жан — студент, и, хотя ему уже двадцать четыре года, в химической команде он самый молодой, а потому должен выполнять обязанности Píkolo — мальчика на побегушках. Жан следит за чистотой в бараке, отвечает за инструмент, моет котелки, подсчитывает отработанные командой часы. Он свободно владеет французским и немецким. Едва его ноги появляются в отверстии люка, мы сразу же перестаем скоблить и засыпаем его вопросами:

— Also, Píkolo, was gibt es Neues?*

— Qu'est-ce qu'il y a comme soupe aujourd'hui?***

* Ну что нового, Пиколо? (нем.)

** Какой сегодня суп? (фр.).

Нас интересует, в каком настроении капо, получил ли Штерн свои двадцать пять ударов, что там снаружи за погода, читал ли Жан сегодня газету, чем пахнет на кухне у вольных, который сейчас час.

Жана любили в команде. Надо сказать, что по лагерной шкале Pikoło занимает не самую последнюю ступеньку на иерархической лестнице придурков: он не работает руками, может сколько угодно греться у печки, может по своему усмотрению распоряжаться остатком дневного супа со дна бачка. И за всю эту «работу» ему еще дополнительно положено полрациона. Кроме того, у него есть шанс завоевать доверие капо, а то и подружиться с ним, тогда тот не обидит его при обмене одежды и обуви — даст что получше.

Но Жан был нетипичным придурком: физически крепкий, себе на уме, по отношению к нам он держался ровно, даже дружелюбно. Упорно и бесстрашно ведя в одиночку свою тайную войну с лагерем и смертью, он делал все, чтобы снискать благоволение Алекса, нашего капо, но при этом оставался в хороших отношениях с остальными, непривилегированными товарищами по команде.

Что до самого Алекса, то он полностью оправдал наши ожидания: закованный в непробиваемую броню хамства и невежества, он был жесток и коварен, обладал исключительным талантом ищейки и опытом изощренного профессионального тюремщика. При каждом удобном случае он подчеркивал превосходство своей чистой крови и своего положения «зеленого треугольника», а нам, своим обессилевшим, изголодавшимся химикам, демонстрировал глубокое презрение.

— Ihr, Doktoren! Ihr, Intelligenzen! (Ну вы, доктора! Ну вы, интеллигенция!) — ежедневно издевался он, глядя, как мы толпимся на раздаче еды и тянем вперед свои пустые котелки.

С вольными мастерами Алекс держался услужливо, предупредительно, с эсэсовцами водил дружбу.

Рабочий учет и ежедневные рапорты о выполнении нормы явно не были его коньком, и Жан, воспользовавшись этим, постарался доказать Алексу свою полезность. Целый месяц команда, затаив дыхание, следила за развитием событий, и вот наконец тонко продуманная тактика Жана принесла свои плоды: к нашему всеобщему удовлетворению, Алекс доверил ему наконец всю эту бухгалтерию.

Но и прежде, еще до того, как Жан утвердился в должности учетчика, мы замечали, что его слово, сказанное нужным тоном и в нужный момент, имело большой вес. Не раз он спасал товарищей по команде от наказания палками, от доносов в СС. Неделю назад судьба свела нас при чрезвычайных обстоятельствах, во время воздушного налета, и мы сразу стали друзьями, хотя в последующие дни нам из-за строгости лагерного режима не удавалось поговорить: мы едва успевали кивнуть друг другу на ходу, встречаясь в сортире или умывальной.

Держась одной рукой за качающуюся лесенку, другой он указал на меня:

— Aujourd'hui c'est Primo qui viendra avec moi chercher la soupe*.

До вчерашнего дня ходить в наряд за едой (Essenholen) было ежедневной обязанностью косоглазого Штерна из Трансильвании, но теперь, когда из-за какой-то истории с пропавшими на складе метлами он впал в немилость, Жан в качестве своего напарника решил предложить мою кандидатуру.

Я вылез вслед за ним из цистерны, шурясь от яркого дневного света. Снаружи было тепло, от жирной, разогретой солнцем земли поднимался легкий запах смолы и краски, напомнивший мне летние пляжи моего детства. Жан протянул мне одну из двух палок для пе-

* Сегодня Primo пойдет со мной за супом (фр.).

реноски бачка с супом, и мы зашагали под синим июньским небом. Я принялся его благодарить. Брось, мол, ерунда, отмахнулся он. На горизонте виднелись заснеженные вершины Карпат, я полной грудью вдыхал свежий воздух, мне было необыкновенно легко.

— Tu es fou de marcher si vite. On a le temps, tu sais*.

До кухни идти примерно километр, а потом возвращаться с пятидесятилитровым бачком. Работа, конечно, нелегкая, зато она окупается приятной прогулкой в один конец и всегда желанной возможностью приблизиться к кухне.

Мы не спешим. Жан специально так продумал маршрут, чтобы мы, ни у кого не вызывая подозрений, сделали крюк, растянув дорогу как минимум на час. Мы говорим о доме, о наших родных городах, Страсбурге и Турине, о любимых книгах, об учебе. И еще о матерях. Видно, все матери на свете одинаковы, его мама тоже ворчала, что он не умеет считать деньги. Если бы они только знали, чего стоит их сыновьям каждый день жизни здесь, в лагере, если бы только знали!

Мимо проезжает на велосипеде эсэсовец. Это Руди, блокфюрер.

— Стоять! Смирно! Шапки долой!

— Sale brute, celui-la. Ein ganz gemeiner Hund**, — вслед ему тихо говорит Жан.

Жану безразлично, на каком языке говорить? Безразлично, он думает на обоих, на французском и на немецком. Однажды он был в Лигурии, целый месяц там провел, Италия ему нравится, он с удовольствием бы выучил итальянский. А я бы с удовольствием стал его учить, только это нереально. Вполне реально. Можем начать прямо сейчас. Главное — не терять времени, не упустить ни одной минуты этого часа.

* Не несись, как сумасшедший. Время у нас есть, сам знаешь (фр.).

** Грязная скотина (фр.). Подлая сука (нем.).

Встречаем моего земляка, римлянина Лиментани. Он еле волочит ноги и прячет свой котелок под курткой. Жан прислушивается к нашему разговору, ухватывает несколько отдельных слов и, смеясь, повторяет их:

— Zup-ра, sam-ро, ac-qua (суп, лагерь, вода).

Идет Френкель. Надо прибавить шагу, а то еще, чего доброго, наступит на нас, ему это раз плюнуть.

Улисс... Вдруг пришла на ум двадцать шестая песнь «Ада». Впрочем, почему бы и нет? Выбирать все равно некогда, от часа остается все меньше и меньше. Ничего, Жан умный, он поймет. Уж я постараюсь, чтобы он понял, сегодня я в ударе.

До чего же непривычно, странно пытаться рассказать в двух словах о том, кто такой Данте, что такое «Божественная Комедия», как построен Ад и как там казнят грешников; объяснять, что Вергилий олицетворяет Разум, а Беатриче — Теологию.

Жан слушает меня с огромным вниманием, и я начинаю читать, медленно и внятно:

Lo maggior corno della fiamma antica
Cominciò a crollarsi mormorando,
Pur come quella cui vento affatica.

Indi, la cima in qua e in là menando,
Come fosse la lingua che parlasse
Misse fuori la voce, e disse: Quando...*

Тут я останавливаюсь и пробую перевести. Кошмар! Несчастный Данте, несчастный французский язык!

* С протяжным ропотом огонь старинный
Качнул свой большой рог; так иногда
Томится на ветру костер пустынный.

Туда клоня вершину и сюда,
Как если б это был язык вещавший,
Он издал голос и сказал: «Когда...

Тем не менее эксперимент, кажется, продвигается удачно: Жан удивлен и восхищен сходством языков и даже подсказывает перевод, когда я запинаюсь на слове «antica».

А после «Когда» что? Две строчки забыл, провал в памяти. Потом: «Пристал Эней, так этот край назвавший». Дальше опять провал, всплывает обрывок фразы без начала и конца: «...ни перед отцом / Священный страх, ни долг любви спокойный / Близ Пенелопы с радостным челом...»

А вот за строчку «И я в морской отважился простор» — «Ma misi me per l'alto mare aperto» — могу поручиться и даже в состоянии объяснить, что итальянское «misi me» совсем не то же самое, что французское «je me mis», оно выразительнее, «отважнее», оно означает — вырваться, броситься вперед, ломая преграды, нам обоим понятно это стремление. Морской простор... Жан плавал по морю, он знает, что такое морской простор, когда море так легко, так свободно и естественно уходит за горизонт или сливается с горизонтом, когда вокруг только запах моря... Как живы и как далеки сейчас от нас эти воспоминания!

А вот и Kraftwerk, электростанция, здесь работают укладчики кабеля, и среди них должен быть инженер Леви. Это волевой, сильный человек, не позволяющий себе опуститься; я никогда не слышал, чтобы он говорил о еде. Да вон же он, вернее, его голова над траншейей. Леви видит меня, машет рукой.

Морской простор... морской простор... Помню только, что «простор» рифмуется со словами «с давних пор»: «С моей дружиной, верной с давних пор», а из следующей терцины ни одного слова не помню, впрочем, я даже не уверен, что за чем должно идти. Ладно, не важно. Короче говоря, пускаются они в свое безрассудное плаванье, и достигают геркулесовых столбов, точнее, там говорится, что они входят в пролив в том месте, где Геркулес поставил межи (какая тоска пересказывать содержание терцин своими

словами, просто кощунство!), «...чтобы пловец не преступал запрета». *Acciò che l'uom più oltre non si metta*. Наконец-то удалось выудить из памяти строчку целиком! «*Si metta*», а там было «*misi me*», все тот же глагол «*mettersi*»! Чтобы обратить внимание на его многозначность, надо было попасть в лагерь. Но с Жаном можно не делиться этим открытием, во-первых, оно не такое уж важное, а во-вторых, уже почти двенадцать, а я еще столько всего должен ему объяснить.

Я спешу, ужасно спешу. Слушай внимательно, Жан, сосредоточься, мне очень нужно, чтобы ты понял это место:

*Considerate la vostra semenza:
Fatti non foste a viver come bruti,
Ma per seguir virtute e conoscenza.*

Я поражен, точно и сам слышу это впервые: «Подумайте о том, чьи вы сыны: / Вы созданы не для животной доли, / Но к доблести и к знанию рождены».

Как будто ангел вострубил, как будто раздался глас Божий. На секунду я забываю, где я и кто.

Жан просит меня повторить еще раз. Какой он чуткий — понял, что мне это доставит удовольствие. А может, он не ради меня, может, несмотря на мои торопливые бездарные объяснения, до него дошел подлинный смысл этих слов, он почувствовал, что они касаются его самого, касаются всех, кто страдает, и в особенности нас, нас двоих, осмелившихся рассуждать о таких вещах здесь, в лагере, по дороге на кухню.

*Li miei compagni fec'io sí acuti...**

Пытаюсь объяснить, что значит «*acuti*», но он не понимает. Следующие строчки опять выпали из памяти. Что-то вспоминается насчет луны, но перед этим —

* Товарищей так живо укололи...

провал, *keine Ahnung*, как здесь говорят. Пусть Жан меня простит, но придется пропустить минимум три терцины.

— Ça ne fait rien, vas-y tout de même*.

Дальше так дальше. «Когда гора, далекой грудой темной, / Открылась нам; от века своего / Я не видал еще такой огромной».

Да, да, «такой огромной», а не «очень большой», тут все дело в масштабе. А горы, когда смотришь на них издали, горы, они... Господи, только бы Жан не молчал, только бы говорил, все равно о чем, лишь бы мне не думать о *моих* горах, встающих далекой темной грудой, когда я, возвращаясь под вечер из Милана в Турин, смотрел на них из окна поезда...

Все, хватит, надо взять себя в руки, есть вещи, о которых вслух не говорят.

Жан ждет, вопросительно смотрит.

Я бы отдал сегодняшний суп, лишь бы вспомнить, что идет за «такой огромной». Закрываю глаза, грызу ноготь, пытаюсь восстановить в памяти хотя бы рифмы, но ничего не выходит. Зато совсем не к месту вспоминается строка из третьей песни: «Пустыня скорби вспыхнула кругом». Все, времени больше не остается, мы уже подходим к кухне.

«Три раза в быстрине водоворота; / Корма взметнулась на четвертый раз, / Нос кагул книзу, как назначил Кто-то...»

Я останавливаю Жана, мне надо сейчас, не откладывая на потом, объяснить ему, что значат слова «как назначил Кто-то», потому что потом будет поздно, мы можем больше никогда не встретиться, или кто-то из нас может умереть, мне надо объяснить ему про очень важный, такой гуманный смысл этих слов, наверняка звучавших анахронизмом в средневековье, и про этого гигантского, необъятного «Кого-то», к которому — я

* Ничего, давай дальше (*фр.*).

вдруг, словно по наитию, понял это сейчас — и должны быть обращены все наши «почему».

И вот мы уже стоим в очереди за супом в толпе голодных и оборванных «супоносов» из других команд. Сзади напирают те, кто подошел позже: что там сегодня, Kraut und Rüben? Kraut und Rüben. Объявляют «меню»: сегодня суп из капусты и репы. Капуста и репа. Kraut und Rüben. Choux et navets. Káposzta és répak.

И море, хлынув, поглотило нас.

СОБЫТИЯ ЛЕТА

Всю весну транспорты приходили из Венгрии, и теперь, когда каждый второй узник в лагере был венгром, венгерский стал самым распространенным после идиша.

К августу 1944 года мы, отбывшие уже пятимесячный срок, считались старожилками. Мы несколько не удивились, что выдержанный нами экзамен по химии не привел к изменению нашего положения и 98-я команда, вопреки ожиданиям, так и не стала командой специалистов. Не удивились и не расстроились, потому что в глубине души опасались всяких перемен. «Перемены бывают только к худшему» — гласит лагерная поговорка. Многочисленные случаи уже успели убедить нас в бесплодности любых прогнозов и предположений: что толку мечтать, строить планы, учил нас опыт, если ничем — ни действием, ни словом — мы все равно не в состоянии повлиять на ход событий? Бывалые хефтлинги, мы постигли мудрость слов «не пытаться понять», взяли за правило не заглядывать в будущее, не думать, как и когда все это закончится, ни о чем не спрашивать себя и других.

Мы хранили воспоминания о прошлой жизни, но они были далеки и туманны, поэтому вызывали чувство нежной грусти, как воспоминания о детстве или о чем-то безвозвратно ушедшем. С того самого момента, как каждый из нас попадал в лагерь, для него начинался отсчет совсем иных, здешних воспоминаний, тяжелых и жестоких, связанных исключительно с кровоточащим, как незаживающая рана, настоящим.

Доходившие до нас новости о высадке союзников в Нормандии, о наступлении русских, о неудачном поку-

шении на Гитлера вызывали прилив жгучей, но бессмысленной надежды. Каждый чувствовал, что силы день ото дня убывают, воля к жизни тает, мутится разум. Нормандия и Россия были где-то далеко, они казались нам нереальными, здесь же неминуемо надвигалась зима, мы страдали от реального голода и лишений и даже не могли себе вообразить, что существует иной мир, кроме нашего лагерного мира, иное время, кроме нашего пустого неподвижного времени, конца которому, казалось, не будет никогда.

Для живых временные отрезки всегда имеют свою ценность, тем большую, чем больше внутренних сил ушло у человека на их преодоление. Для нас же часы, дни, месяцы вяло текли из будущего в прошлое, сливаясь в один общий мутный поток, поэтому мы торопились стереть их из памяти как можно скорей. Прошло время, когда прекрасные неповторимые дни пролетали веселой чередой; теперь же серое непроглядное будущее стояло впереди непреодолимой преградой: история для нас остановилась.

В августе сорок четвертого начались бомбардировки Верхней Силезии, которые с нерегулярными промежутками продолжались всю осень и зиму вплоть до самого конца.

Фантастически отлаженная работа на всех участках строящейся Буны осталась в прошлом: начались сбои, вынужденные простои компенсировались бешеными авралами. Казавшаяся еще в августе незыблемой дата запуска завода по производству искусственного каучука постепенно отодвигалась, а вскоре немцы вообще перестали называть сроки.

Рабский труд тысяч и тысяч заключенных стал терять продуктивность, дисциплина день ото дня слабела, появились признаки явного саботажа. После каждого налета что-то ломалось, выходило из строя; уже готовые к пуску линии приходилось налаживать вновь,

устраняя поломки в тонких механизмах. Спешно строились убежища, возводились защитные сооружения, которые, и это выяснялось при первом же налете, оказывались вовсе не такими уж надежными.

Пока Буна строилась, мы были рады всему, что хоть как-то нарушало раз и навсегда заведенный порядок, скрашивало монотонность долгих и неразличимых дней; когда же на наших глазах она стала разваливаться, нас это уже не радовало, потому что казалось, что кара обрушилась и на нас. Мы задыхались от пыли, обливались потом среди горящих развалин, прижимались к земле, ища спасения от беспощадных самолетов; а когда, обессиленные работой, иссушенные жаждой, обдуваемые ветрами неуютного польского лета, возвращались вечером в лагерь, там тоже царило разорение: не было воды, чтобы напиться и умыться; не было супа, чтобы наполнить желудок, не было света, чтобы защитить свой кусок хлеба от голода соседа, а утром найти башмаки и одежду в бедламе темного блока.

Вольных немцев охватила настоящая паника: они словно пробудились от глубокой спячки, в которой пребывали до этого, и никак не могли понять, что вокруг них происходит. И заключенные Reichsdeutsche, включая даже политических, перед лицом надвигающейся опасности вспомнили, что все они — одной крови и одного племени. В новых обстоятельствах ненависть и враждебность приняли самые низменные, самые примитивные формы, и лагерь раскололся пополам — на немцев и ненемцев. Политические вместе с уголовниками и эсэсовцами видели (или им казалось, что видели) злорадство и жажду мести в наших глазах, и это объединяло их, побуждая на еще большую жестокость по отношению к нам.

Теперь ни один немец ни на минуту не забывал, что мы из вражеского стана, что мы заодно с теми, кто хозяйничает в их немецком небе, кто, несмотря на все возведенные ими преграды, сеет сверху смерть и разрушения, превращая в груды железного лома то, что они

успели построить, и даже угрожая их собственным домам — неприкосновенным домам немецкого народа.

Что касается нас самих, мы были слишком ослаблены морально и физически, чтобы по-настоящему бояться. Тех немногих, кто еще способен был чувствовать и здраво мыслить, бомбардировки радовали, вселяя в них силы и надежду; те, кого голод еще не довел до полного безразличия, пользовались моментами всеобщей паники, чтобы поживиться на кухне или на складе, подвергая при этом свою жизнь двойной опасности: к риску попасть под бомбежку добавлялся риск попасть на виселицу за воровство, если оно откроется. Большинство же переносило новые напасти и лишения с невозмутимым безразличием. Не имевшее ничего общего с душевным смирением, оно напоминало тупое оцепенение замученного побоями животного, на которого эти побои уже не действуют.

Нас в убежища не пускали. Когда земля начинала дрожать от взрывов, мы, оглушенные грохотом, тащились через едкую дымовую завесу к пустырю на окраине Буны, бросались на грязную бесплодную землю, испытывая при этом сладостное ощущение отдыха в измученном теле. Равнодушным взглядом мы смотрели на вздымающиеся вокруг нас столбы огня и дыма, а в минуты коротких передышек, когда угрожающий гул в небе, так хорошо знакомый каждому жителю Европы, стихал, мы искали в истоптанной сотнями ног земле чахлые стебельки цикория и ромашки, рвали их и подолгу молча жевали.

После сигнала отбоя мы поднимались на ноги и, сбившись в безмолвное многоголовое стадо, покорно плелись обратно, чтобы вернуться к привычной работе — ненавистной и, как теперь уже было очевидно, никому не нужной.

Именно в это время, когда окружающий мир начал трещать и рушиться у нас на глазах, когда вместе с воз-

растающей надеждой усиливался террор и ужесточалось рабство, мне посчастливилось встретить Лоренцо.

История моего знакомства с Лоренцо — длинная и одновременно короткая, простая и загадочная: она отражает времена и факты, не имеющие никакого отношения к современной действительности, поэтому, думаю, и не может сегодня восприниматься иначе, как легенда, как рассказ о событиях очень и очень далеких.

Короче говоря, суть этой истории состоит в следующем: один вольнонаемный итальянский рабочий приносил мне в течение шести месяцев остатки хлеба и еды; еще он подарил мне свою заплатанную майку, написал за меня открытку в Италию, а потом передал мне ответ. И все это совершенно бескорыстно, ни разу не попросив и не приняв ничего взамен, просто потому, что он был добрым, хорошим парнем и даже не представлял себе, что за добро можно требовать вознаграждения. Так что если кому-то покажется, что сделанное им для меня — пустяки, тот ошибается.

Я был не единственным, кто имел знакомого с воли; как я уже говорил, многие из нас, чтобы выжить, заводили отношения с вольными, но у некоторых они были особого свойства. О таких отношениях мои товарищи говорили полунамеками, тем двусмысленным тоном, каким обычно в мужских компаниях говорят о тайных связях с женщинами: слегка бравируя и рассчитывая, что их похвальба вызовет у слушателей зависть. При этом даже самые безнравственные, для которых не было, казалось, ничего святого, осознавали, что подобные отношения выходят за рамки допустимых и пристойными их никак не назовешь. Рассказывая свои истории, хефтлинги проявляли большую осторожность, никогда не называли имен, причем не столько из боязни скомпрометировать своих «покровителей» или «друзей», сколько потому, что прежде всего хотели обезопасить себя от нежелательных соперников. Самые искушенные, самые профессиональные соблазнители вроде Генри вообще ничего не рассказывали. Они

оказывали свои знакомства тайной, ограничиваясь общими фразами и туманными намеками, чтобы создать впечатление, будто они пользуются расположением каких-то безгранично влиятельных и щедрых покровителей. Делалось это с определенной целью: тот, кто был в ореоле удачи, имел, как мы говорили, основательные шансы добиться реального успеха.

Соблазнитель или «организованный» вызывал зависть, восхищение и одновременно — презрение, насмешки. Если один из таких позволял себе открыто, на виду у других есть свою «организованную» еду, его за это строго осуждали: мало, мол, что дурак, у него еще ни стыда, ни совести нет. Находился другой дурак и нахал, который мог спросить: «Кто тебе дал? Где ты это достал? Как тебе удалось?» Но только Большие Номера, неопытные наивные новички, незнакомые с лагерными законами, задавали такие вопросы, потому что еще не знали, что вместо ответа услышат что-нибудь вроде «Verschwinde, Mensch», «Hau'ab», «Uciekaj», «Schiess' in den Wind», «Va chier» — разноязычные варианты выражения «катись отсюда», которыми так богат лагерный жаргон.

Были и такие, кто специализировался в сложных, требующих большого терпения розыскных операциях, стараясь вычислить того или тех вольных, к которым тянулась ниточка, чтобы, оттеснив прежнего «организованного», пристроиться самому. Борьба бывала долгой и продолжалась до победного конца, причем особенно ценились не начинающие, а уже «обтесанные» вольняшки — гораздо более доходные и, главное, надежные. Потерять «обтесанного» было обиднее, ведь он ценился гораздо дороже как по сентиментальным, так и по техническим характеристикам, поскольку имел опыт, знал правила, умел обходить опасности, а кроме того, уже успел доказать, что кастовых барьеров для него не существует.

Между тем мы были неприкасаемыми для большинства вольных. Все они, с той или иной степенью откры-

венности, демонстрировали нам свое отношение, колеблющееся от презрения до сочувствия, считая, что раз мы попали сюда, раз нас содержат в таких условиях, значит, дело с нами не чисто, значит, есть на нас какая-то тайная и ужасная вина. Они слышали, что мы говорим на разных непонятных языках, которые звучали для них дико, вызывая ассоциацию с криками зверей; они видели нас, полностью поработанных, без волос, без имен, забывших о достоинстве, терпящих побои, с каждым днем все больше деградирующих, но не могли заметить в наших взглядах даже проблеска протеста, веры или смирения. Они знали нас как воров и обманщиков, как грязных голодных оборванцев и, поменяв местами следствие и причину, воспринимали нас такими, какими мы стали. Для них мы все были на одно лицо и назывались просто KZ* — средний род, единственное число.

Естественно, это не мешало им бросить иной раз хефтлингу кусок хлеба или картофелину, а то и разрешить в знак особой щедрости доест остатки Zivilsuppe со дна их котелков, при условии вернуть их назад чисто вымытыми. Что их побуждало к этому? Слишком назойливый голодный взгляд, порыв сострадания, а иногда и простое любопытство: поглазеть, как мы, точно голодные собаки, налетаем со всех сторон на брошенный кусок, кто скорее схватит, и, когда он достается самому сильному, возвращаемся ни с чем на место.

Но в наших отношениях с Лоренцо ничего похожего не было. Чем больше я пытаюсь понять, почему именно моя жизнь среди тысяч других точно таких же жизней смогла преодолеть все испытания, тем больше убеждаюсь: именно Лоренцо я обязан тем, что сегодня жив. И не только за его материальную поддержку, а еще в большей степени за то, что своей манерой поведения, своей добротой, очень искренней и естествен-

* Здесь: узник концентрационного лагеря (нем.).

ной, он постоянно напоминал мне о том, что за пределами нашего мира по-прежнему существует справедливый, а не развращенный, не дикий, не раздираемый ненавистью и страхом мир; существует нечто чистое и цельное, нечто такое, что трудно назвать словами, — какая-то отдаленная возможность добра, ради которой имело смысл остаться жить.

Тех, о ком здесь рассказано, нельзя назвать людьми. Их человечность погребена ими самими или другими под унижениями, нанесенными им и нанесенными ими. Как бы парадоксально это ни прозвучало, но всех, стоящих на разных ступенях созданной немцами уродливой иерархической лестницы — и злобных тупых эсэсовцев, и капо, и политических с уголовниками, и придурков всех рангов, и отупевших забитых хефтлингов, — объединяло одно: внутренняя опустошенность.

А Лоренцо был и остался человеком; в этом перевернутом мире, в мире со знаком минус, он сумел уберечь и не запятнать свою человечность. Благодаря ему мне тоже удалось не забыть, что я — человек.

ОКТАБРЬ 1944 ГОДА

Мы всеми силами боролись за то, чтобы не наступила зима. Цеплялись за каждый теплый час, старались хоть на секунду удержать над горизонтом заходящее солнце, но наши усилия были напрасны. Вчера солнце окончательно исчезло в грязном тумане за заводскими трубами и колючей проволокой, а сегодня уже зима.

Что это такое, мы знаем, потому что пережили здесь прошлую зиму, а новички скоро узнают. В течение предстоящих месяцев, с октября по апрель, семь человек из каждых десяти умрут, а кто не умрет, будет страдать ежеминутно, ежечасно и ежедневно, с темного, начинающегося задолго до рассвета утра до вечернего супа, сжимаясь всем телом, прыгая с ноги на ногу, хлопывая себя по бокам, чтобы устоять перед холодом. Необходимо будет подкопить хлеба, чтобы обзавестись рукавицами и, не досыпая, штопать их, когда они порвутся. Днем, поскольку есть на открытом воздухе холодно, придется делать это в бараке, стоя впритык друг к другу, и даже облакачиваться о нары нельзя — запрещено. Руки покроются трещинами и язвами, и, чтобы сделать перевязку, надо каждый вечер часами стоять в очереди под снегом и ветром.

Как наш голод несравним с голодом пропустившего обед человека, так и наши страдания от холода нельзя передать обычными словами. Мы совсем другое имеем в виду, когда говорим «голод», «усталость», «страх», когда говорим «боль», говорим «зима». Эти слова — свободные, их придумали и употребляют свободные люди, которые живут со своими радостями и

страданиями в собственных домах. Если бы лагеря просуществовали дольше, возник бы новый, более меткий язык, а сейчас нам не хватает его, чтобы объяснить, какво работать целый день на ветру при минусовой температуре, когда на тебе только рубашка, трусы, матерчатые штаны и куртка, когда ты ощущаешь слабость во всем теле, страдаешь от голода и постоянно помнишь о неизбежности конца.

В то утро на наших глазах умерла надежда, так мы восприняли наступление зимы. Мы узнали о ее приходе утром, когда шли из барака в умывальню: небо было беззвездным, в темном холодном воздухе пахло снегом. Стоя в ожидании развода на площади для переключек, никто не проронил ни слова. Когда в забрезжившем свете мы увидели первые снежинки, то подумали: скажи нам кто-нибудь в эту же пору в прошлом году, что мы проведем в лагере еще одну зиму, мы бросились бы на проволоку под высоким напряжением; впрочем, это и сейчас не поздно бы сделать, но удерживает не поддающаяся никакой логике безумная надежда, за которую нам самим стыдно.

Потому что у слова «зима» есть еще одно значение.

Весной немцы установили в лагере на свободном месте две гигантских палатки. Все теплое время года там жили хефтлинги, по тысяче человек в каждой. Теперь палатки разобрали, а две тысячи их обитателей кое-как рассовали по баракам. Мы, старожилы, знаем немцев, они не любят, когда нарушается порядок, и наверняка в ближайшее время что-нибудь предпримут для уменьшения нашей численности.

Селекции предчувствуются заранее. Гибридное латинско-польское слово «Selekcja» слышишь раз, слышишь два, выделяешь в непонятной иностранной речи. Сначала пропускаешь мимо ушей, потом прислушиваешься, наконец, оно начинает тебя преследовать.

Сегодня утром слово «Selekcja» произнесли поляки. Они первыми узнают все новости, но держат их в секрете от остальных, потому что знать то, чего не знают

другие, всегда выгодно. К тому времени, когда про предстоящую селекцию узнают все, поляки уже успеют предпринять необходимые, впрочем достаточно скромные, меры, чтобы ее избежать: подкупят с помощью хлеба и табака врача или влиятельного придурка, вовремя устроятся в Ка-бэ или, наоборот, выпишутся от туда до того, как нагрянет комиссия.

В последующие дни в лагере и на стройке только и говорят о селекции: никто ничего определенного не знает, но говорят все, даже вольнонаемные поляки, итальянцы и французы, с которыми мы тайно общаемся на работе. Что касается нашего морального состояния, то мы настолько угнетены и невосприимчивы, что нас трудно вывести из равновесия. Противостояние холоду, голоду и тяжелому труду не оставляет сил ни на что, в том числе и на мысли о предстоящей селекции. Каждый реагирует на свой лад, но даже самых естественных в этой ситуации чувств — покорности или отчаяния — почти никто не проявляет.

Кто может себя как-то обезопасить — делает это, но таких единицы. Избежать селекции трудно, потому что немцы к своей работе относятся серьезно и выполняют ее неукоснительно.

Кто не может принять каких-то определенных мер, старается защитить себя другим способом. В сортире, в умывальне все демонстрируют друг другу свою грудную клетку, свои ягодицы, свои ляжки, в надежде услышать от товарищей успокоительные слова, вроде таких, например: «Можешь не волноваться, твой черед еще не подошел...», «Du bist kein Muselmann*, не то что я...» — и говорящий это спускает штаны, задирает рубашку, чтобы и его кто-нибудь приободрил.

Никто не отказывает другому в подобной милости, никто не осмеливается выносить другому приговор, ибо никто не может быть на сто процентов уверен в собственной судьбе.

* Ты не доходяга (нем.).

Я сам бесстыже вру старику Вертхаймеру, учу его, чтобы он, если спросят возраст, сказал, что ему сорок пять лет и чтобы обязательно накануне побрился, даже если это обойдется ему в четверть хлебной пайки. И вообще бояться нечего, кто в конце концов сказал, что после селекции обязательно отправят в газ? Староста говорил недавно, будто некоторых отправят в Явожно, в оздоровительный лагерь, неужели он не слышал?

Вертхаймеру, конечно, надеяться не на что, это ясно: выглядит он на шестьдесят, у него чудовищное расширение вен, есть ему уже не хочется. Тем не менее он спокойно устраивается на нарах и всем, кто его спрашивает насчет селекции, отвечает моими словами. Байка про оздоровительный лагерь передается в эти дни, как пароль, из уст в уста. Я не сам ее придумал, я слышал как ее рассказывал Хаим, который тут уже три года и, поскольку до сих пор силен и крепок, очевидно, за себя спокоен. Меня самого его слова, которые я принял за чистую монету, поддержали, и благодаря даже такой мизерной поддержке я прошел большую селекцию в октябре 1944 года с поразительным спокойствием. Мое спокойствие объясняется тем, что мне удалось обмануть самого себя. Однако тот факт, что меня не отобрали, скорее свидетельствует о везении, нежели о силе моей веры.

Мсье Пинкер тоже обречен, достаточно посмотреть ему в глаза. Он знаками подзывает меня и заговорщицким тоном говорит, будто узнал, из какого источника — не имеет значения, что на этот раз точно все будет иначе, Святой престол через посредство Международного Красного Креста... короче, он клянется, ни ему, ни мне абсолютно никакая опасность не грозит, как-никак, а он, да будет мне известно, бывший атташе бельгийского посольства в Варшаве...

Так или иначе, но и эти, предшествующие селекции дни прошли. Они мало отличались от остальных дней, хотя со стороны может показаться, что выше человеческих сил выносить столь мучительное ожи-

дание. Нет, жизнь шла своим чередом, ни в лагере, ни в Буне ничего не изменилось, и все наше внимание без остатка было сосредоточено на работе, холоде и голоде.

Сегодня Arbeitssonntag, рабочее воскресенье: мы работаем до часу, а после возвращения в лагерь у нас душ, стрижка, проверка на чесотку и на вшивость. На стройке, однако, все почему-то уверены, что сегодня будет селекция.

Новость, как это обычно бывает, подкреплена противоречивыми, не вызывающими доверия подробностями: сегодня утром селекция проводилась в санчасти, отобрали семь... тридцать... пятьдесят процентов больных; в Биркенау труба крематория дымит без остановки целых десять дней; освобождают место для огромного транспорта из Позенского гетто. Молодые уверяют молодых, что отберут всех стариков. Здоровые здоровых — что всех больных. Специалистов трогать не будут. Немецких евреев трогать не будут. Малые номера трогать не будут. Тебя тронут. Меня трогать не будут.

Как и положено, в тринадцать ноль-ноль стройка пустеет, и нескончаемые серые колонны в течение двух часов тянутся через два контрольно-пропускных пункта к площади для переключек, где нас считают и пересчитывают, а оркестр, как это бывает ежедневно при наших уходах и приходах, два часа без перерыва играет свои марши, под которые мы подлаживаем шаг.

Кажется, будто все, как обычно, — из кухонной трубы идет дым, скоро будут раздавать суп... но вдруг начинает звонить колокол, и все понимают: это то самое.

Потому что колокол звонит только по утрам и означает «подъем». Если он зазвонил днем — это значит «Blocksperr», всех запереть в бараки, такое бывает только перед селекцией, чтобы никто от нее не укрыл-

ся и чтобы когда отобранные будут уходить в газ, никто не видел, как они уходят.

Наш староста свое дело знает. Убедившись, что все на месте, он запирает дверь на ключ, раздает всем регистрационные карточки, где значатся номер, имя, профессия, возраст, национальность, приказывает снять с себя все, кроме обуви. Голые, с карточкой в руке, мы будем стоять и ждать, когда комиссия придет в наш барак. Наш барак сорок восьмой, но неизвестно, с какого начнут — с первого или шестидесятого. При любом варианте мы простои́м не меньше часа, и непонятно, почему нельзя пока лечь на нары и накрыться одеялом, чтобы не мерзнуть.

Многие успевают задремать, когда на нас обрушивается шквал команд, ругани и тумачков — знак того, что комиссия уже на подходе. Блочный староста и его подручные с помощью окриков и кулаков гонят напуганную голую толпу из одного конца блока в другой и запикивают в Tagesraum, который одновременно и канцелярия. Tagesraum — всего семь метров на четыре, поэтому, когда загоняют последних, там образуется плотное человеческое соединение, которое заполняет все углы и пустоты и оказывает такое сильное давление на дощатые стены, что они начинают трещать.

Нам сейчас не до страха. Спрессованные в одну массу, мы ощущаем тепло других тел, и это ощущение для нас ново и не неприятно. Чтобы не задохнуться, мы задираем головы, при этом боимся смять, а тем более выронить зажатую в руке карточку.

Староста запирает дверь, соединяющую спальный и дневной отсеки, и открывает две других, на улицу. Между открытыми дверями встает вершитель наших судеб, шарфюрер СС. По правую руку от него — староста, по левую — наш блочный регистратор. Каждый из нас, выйдя на октябрьский холод голым из дневно-

го отсека, должен пройти несколько шагов до этой троицы, вручить свою карточку ээсовцу, затем сделать еще несколько шагов и войти в дверь спального отсека. Ээсовец, посмотрев проходящему сначала в лицо, потом в спину, за секунду решает его судьбу и передает карточку стоящему справа от себя или стоящему слева, и это означает для каждого из нас жизнь или смерть. За три-четыре минуты барак в двести человек «готов», а к вечеру — и весь двенадцатитысячный лагерь.

Зажатый со всех сторон телами, я чувствую, как давление на мое тело постепенно уменьшается, вокруг становится свободнее, а вскоре подходит и моя очередь. Как и все, я бодро выхожу из двери энергичным упругим шагом, высоко поднимаю голову, выпячиваю грудь, демонстрирую силу напряженных мускулов. Пройдя мимо ээсовца, я скашиваю глаза, чтобы подсмотреть, кому он передаст мою карточку, и мне кажется, что она попадает направо.

Один за другим мы возвращаемся в свою часть барака и можем наконец одеться. Никто из нас пока не знает твердо, как решилась его судьба, потому что для этого надо сначала выяснить, какая сторона для приговоренных — правая или левая. Уже нет смысла подбадривать друг друга или делиться радужными слухами. Все молча жмутся к старикам, к доходягам, потому что если их карточки слева, значит, левая сторона точно для приговоренных.

Но еще до конца селекции все узнают, что левая — плохая, несчастливая сторона, schlechte Seite. Происходят и необъяснимые вещи: Рене, например, такой молодой и здоровый, попал налево. Может, из-за очков, может, из-за походки — она у него, как у всех близоруких, слегка нетвердая, но, скорее всего, по чистой случайности. Я вышел к комиссии непосредственно за Рене, наши карточки могли просто перепутать. Я делюсь своими предположениями с Альберто, и мы приходим к выводу, что такое вполне могло случиться. Завтра или

потом я, возможно, задумаюсь над этим, но сейчас никаких определенных мыслей или чувств во мне нет.

За счет ошибки следует отнести и случай с Саттлером, плотного телосложения крестьянином из Трансильвании, который всего двадцать дней, как простился с родным домом. Он не знает ни одного немецкого слова, не понимает, что тут сейчас происходит, и, сев в уголок, чинит свою рубашку. Подойти к нему и сказать, что рубашка ему больше не понадобится?

Нечего и удивляться подобным ошибкам. Проверка проводится быстро и формально, потому что для администрации лагеря важно не столько отобрать нетрудоспособных хефтлингов, сколько освободить места для новых поступлений.

В нашем бараке селекция закончилась, но нас продолжают держать взаперти, поскольку в других бараках она еще продолжается. Уже доставлены бачки с супом, поэтому староста решает не терять времени и приступить к раздаче. Отобраннным наливают двойную порцию. Я так и не узнал, был ли этот абсурдный, по сути, акт сострадания инициативой самого старосты, или тот действовал по распоряжению эсэсовских властей, во всяком случае, в течение нескольких дней после отбора и до отправки жертвы селекции пользовались этой привилегией.

Циглеру наливают в котелок обычную норму, но он не отходит.

— Чего тебе еще? — недоуменно спрашивает староста и отпихивает его.

Но Циглер не уходит и жалобно канючит: его карточку отложили налево, все же видели, пусть староста сам проверит, но он точно имеет право на двойную порцию.

Получив ее наконец, он удовлетворенно забирается на нары и ест.

Все уже сосредоточенно выскабливают со дна своих котелков последние остатки супа, и барак наполняется металлическим позвякиванием. День закончен. Понемногу шум стихает, и я слышу и вижу с третьего яруса своих нар, как молится Кун. Надев на голову шапку, истово кланяясь, он громким голосом благодарит Бога за то, что его не отобрали.

Видно, Кун не в своем уме. Разве он не видит Беппо, двадцатилетнего грека, который послезавтра отправится в газ? Беппо, который молча, без единой мысли лежит на соседних нарах и, зная, что его ждет, смотрит остановившимся взглядом на лампочку? Разве Кун не знает, что в следующий раз — его очередь? Неужели он не понимает, что сегодня сделана была великая мерзость, которую никакой молитвой не замолить, никаким искуплением не искупить, за которую виновным никогда не выпросить прощения?

Если бы я был Богом, то швырнул бы эту молитву Куна обратно на землю.

КРАУС

В дождливую погоду хочется плакать. На дворе ноябрь, вот уже десять дней, как льет дождь, и раскисшая земля превратилась в болото. От каждой деревяшки пахнет грибами.

Слева, в каких-нибудь десяти шагах, есть навес, под которым можно было бы спрятаться, так ведь никто не разрешит! Если бы у меня был мешок, чтобы укрыть плечи, или, по крайней мере, надежда обсушиться у огня, на худой конец — сухая тряпка, чтобы подложить под рубашку на спину! Вот о чем я думаю, орудуя лопатой, и прихожу к выводу, что и сухой тряпки хватило бы для полного счастья.

Мы промокли до нитки — мокрее не бывает. Остается одно: как можно меньше двигаться, а главное, не делать лишних движений, иначе ледяная мокрая одежда прилипнет к новым участкам кожи, вызвав дрожь во всем теле.

Нам повезло, что сегодня нет ветра. Странно, но по той или иной причине мы постоянно считаем, что нам повезло, и всякий раз какое-нибудь обстоятельство, пусть даже ничтожно малое, удерживает нас на грани отчаяния и позволяет жить. Льет дождь, зато нет ветра. Или льет дождь, и дует ветер, но ты знаешь, что в бараке тебя ждет дополнительная порция супа, а раз так, то ты и сегодня находишь в себе силы тянуть лямку до вечера. А то бывает, и дождь льет, и ветер дует, и голодно, но ты думаешь: если уж действительно станет невмоготу, если действительно не будешь чувствовать ничего, кроме страданий и тоски, а это должно озна-

чать, что ты и вправду достиг дна, тогда у тебя остается еще один выход — в любой момент ты можешь подойти к проволоке под током и дотронуться до нее или броситься под колеса маневрирующего поезда, и тогда дождь перестанет.

С самого утра мы работаем в грязи, стоя на широко расставленных одеревеневших ногах, наши ступни засосала скользкая глина, она чмокает при каждом броске лопаты. Краус и Клаузнер — на дне ямы, я посередине, Гунан надо мной, на уровне земли. Обзор есть только у Гунана, и он, в зависимости от того, кто идет мимо, дает время от времени односложные распоряжения Краусу, чтобы тот либо прибавил, либо сбавил темп. Клаузнер копает, Краус кидает землю мне, лопату за лопатой, я перекидываю ее выше, а Гунан бросает ее в кучу. Другие подходят с тачками, грузят на них землю и куда-то увозят, но это уже нас не интересует, сейчас весь мир для нас — эта глинистая яма.

Краус промахивается, и полная лопата тяжелой земли шлепается мне на ноги. Это уже не в первый раз, и я, не особенно рассчитывая на результат, в очередной раз прошу его быть повнимательней. Краус — венгр, немецкий знает плохо, по-французски вообще ни слова не понимает. Он длинный-предлинный, в очках, с маленьким асимметричным личиком. Когда он смеется, то похож на мальчишку, а смеется он часто. Работает Краус слишком много и слишком энергично, он еще не освоил наших подпольных методов экономить все — дыхание, движения, даже мысли. Он еще не знает, что безопаснее заработать пару ударов, потому что от битья, скорее всего, не умрешь, а от непосильной работы — обязательно, но, когда он это поймет, может быть слишком поздно. Он еще думает, бедный Краус... нет, речь не о мыслительном процессе как таковом, а о дурацких предрассудках, свойственных маленьким служащим, которые он захватил с собой в лагерь... так вот он думает,

будто здесь все так же, как и на воле, где работать принято, где это в порядке вещей и где это просто необходимо, ведь ему с детства вдальбливали: чем больше работаешь, тем больше зарабатываешь и сытнее будешь есть.

— Regardez-moi ça!.. Pas si vite, idiot!* — кричит на него сверху Гунан и, спохватившись, что тот не знает французского, разъясняет по-немецки: — Langsam, du, blöder Einer, langsam, verstanden?***

Краус, если хочет, может хоть убиться на работе, но только, когда один. Сегодня он работает в одной связке с нами, и от его ритма зависит ритм всей команды.

Наконец-то! Со стороны карбидной башни звучит сирена, значит, четыре тридцать, рабочий день английских военнопленных закончился. Следующими отправятся в лагерь украинские женщины, а в пять и нам можно будет разогнуться — впереди возвращение, переключка, контроль на шивость и долгожданный отдых.

«Antreten!» («Строиться!») Со всех сторон подтягиваются заляпанные с ног до головы грязью хефтлинги; одеревенев от холода, они движутся, как марионетки. Одни пытаются размять замерзшие руки и ноги, другие тащатся к каптерке относить инструмент. Мы осторожно высвобождаем из глины ноги, чтобы не оставить в ней деревянных подошв, и, мокрые, шатаясь от усталости, тоже идем строиться в колонну. Zu dreien — по трое. Пытаюсь пробиться поближе к Альберто, сегодня мы работали не вместе, хочется узнать, как у него прошел день, но кто-то отбрасывает меня ударом в живот, я отлетаю и оказываюсь рядом с Краусом.

Все, пошли. Капо грубым голосом командует:

— Links, links, links!***

Сначала каждый шаг отдается в замерзших ногах болью, потом начинаешь отогреваться, расслабляешься. Вот и сегодня, сегодняшнее сегодня, казавшееся уг-

* Вы только посмотрите! Не так быстро, идиот! (фр.)

** Медленно, ты, идиот, медленно, понятно? (нем.)

*** Левоу, левоу, левоу! (нем.)

ром несокрушимым и вечным, мы постепенно, поминутно одолели, отшвырнули и сразу забыли; ни в чьей памяти он и следа не оставит, этот, уже не сегодняшний, день. Мы знаем, завтра нас ждет то же самое. Разве что дождь будет сильнее или слабей или мы будем не землю копать, а таскать кирпичи на карбидной башне. А может, завтра кончится война, может, завтра всех нас убьют или переведут в другой лагерь, или произойдет грандиозное переформирование, про которые неустанно, сколько существует лагерь, говорят как про уже давно решенное дело. Да кто вообще станет всерьез думать о завтра?

Странная вещь память! Сколько нахожусь в лагере, столько у меня в голове вертятся две строчки стихотворения, написанного когда-то одним моим другом:

...зачем говорить «завтра»,
если «завтра» уже не будет?

Да, здесь это так. Знаете, как будет на лагерном жаргоне «никогда»? Morgen früh — завтра утром.

А теперь время links, links, links und links, когда нельзя сбиться с шага. Краус неуклюжий, ему уже досталось от капо за то, что он не умеет ходить в строю. Теперь еще он начинает жестикулировать и мучительно искать немецкие слова, чтобы извиниться за ту лопату земли, которую вывалил мне на ноги. Он все никак не поймет, где мы. Все-таки эти венгры — странный народ.

Идти в ногу и одновременно разговаривать по-немецки — дело непростое. На этот раз не капо, а я указываю ему на то, что он сбился, и, заглянув за мокрые стекла его очков, вижу глаза — глаза человека Крауса.

После этого я долго говорю с ним. Мне кажется важным рассказать об этом разговоре теперь, как казался важным тогда и сам разговор. На своем плохом немецком, медленно, выговаривая отдельно каждое слово и спрашивая после каждой фразы, все ли он по-

нял, я рассказываю ему, что мне снилось, будто я у себя дома, со своими близкими, сижу на стуле за столом, а на столе много-много разной еды, и все это происходит летом, в Италии. В Неаполе? — спрашивает он. В Неаполе, отвечаю, впрочем, дело не в этом. Сидим мы, значит, вдруг звонок, я удивляюсь, иду открывать, гадаю, кто бы это мог быть, и — вот те на! — Краус Пали, собственной персоной, чистый, толстый, с волосами, одет как все свободные люди, и в руках у него хлеб. Большой хлеб, килограмма на два, еще теплый. Я обрадовался, говорю, Servus, Páli, wie geht's? — Привет, Пали, как, мол, дела? Приглашаю его войти, представляю родным, объясняю им, что он приехал из Будапешта и почему он такой мокрый. Да, ты был мокрый, прямо как сейчас. Я тебя напоил, накормил, спать уложил в мягкую постель, и было так тепло, что мы сразу же обсохли, да, мы оба, я ведь тоже промок до нитки.

Какой хороший человек получился бы на свободе из этого благопристойного юноши! Но здесь он долго не протянет, это сразу видно, с первого взгляда. Мне жаль, что я не знаю венгерского, потому что его чувства, снеся все преграды на своем пути, хлынули потоком ни на что не похожих венгерских слов. Я смог разобрать только свое имя и понять по его растроганному лицу и торжественным жестам, что он в чем-то уверяет меня и за что-то благодарит.

Бедный дурачок Краус! Да пойми ты, все я тебе наврал, никакого сна мне про тебя не снилось, и вообще, мне нет до тебя никакого дела, это так, минутный порыв, мне ни до кого и ни до чего здесь нет дела, мне на все наплевать, кроме моего голодного желудка, холода и дождя.

DIE DREI LEUTE VOM LABOR

Сколько месяцев прошло с того дня, как нас привезли в лагерь? С того дня, как я выписался из Ка-бэ? С эк-замена по химии? С октябрьской селекции?

Мы с Альберто часто задаем себе эти вопросы и еще многие и многие другие. Из транспорта сто семьдесят четыре тысячи нас, итальянцев, попало в лагерь девяносто шесть человек. Только двадцать девять дожили до октября, из этих двадцати девяти восьмерых отправили в печь после селекции. Сейчас нас двадцать один человек, но зима только начинается. Сколько останется к Новому году? Сколько к весне?

Уже несколько недель нет налетов. Ноябрьские дожди сменились снегопадами, все вокруг побелело. Немцы и поляки приходят на работу в резиновых сапогах, в меховых наушниках и в теплых комбинезонах, английские военнопленные — в своих великолепных куртках на меху. У нас в лагере зимняя одежда досталась лишь кое-кому из привилегированных. Наша команда — специальная и теоретически должна работать только в помещении, поэтому мы продолжаем ходить по-летнему.

Поскольку по профессии мы — химики, то и работа наша связана с химией: мы таскаем мешки с «фенилбета». Летом, в жару, после первых налетов мы выносили их со склада. «Фенилбета» проникал под одежду, прилипал к вспотевшему телу и разъедал его, точно проказа, наши лица покрылись струпьями, как после ожогов. Когда бомбардировки прекратились, мы стали таскать мешки обратно на склад. Потом в склад все-та-

ки попали, и мы переносили мешки в подвал цеха стирала. Сейчас склад восстановили, и нам предстоит снова их перетаскивать. Наша бессменная одежда насквозь пропиталась едким запахом «фенилбета», он преследует нас неотступно, днем и ночью. Вот и все преимущества, которые мы получили после зачисления в химическую команду. Кому-то достались бушлаты, нам — нет; кто-то носит пятидесятикилограммовые мешки с цементом, а мы — шестидесятикилограммовые с «фенилбета». Экзамен по химии, наши тогдашние надежды... даже вспомнить смешно! Раза четыре за лето возникали слухи о лаборатории доктора Паннвитца в Вау* 939 и о том, что кого-то из нас возьмут лаборантами в отдел полимеров.

Теперь уж все, конец. Наступает зима, а с ней — наш последний бой. В том, что он последний, никто не сомневается. Много раз на дню наши измученные тела, наши натруженные руки и ноги напоминают нам, что их силы кончаются. И вокруг все говорит о разорении, о конце. Половина Вау 939 — это груды покореженного железа и штукатурки; с гигантской трубы, по которой прежде подавался перегретый пар, свисают толстые голубые сосульки, похожие на деформированные пилястры. В Буне тишина, только если прислушаться, услышишь глухой безостановочный, словно идущий из-под земли гул — голос уже близкого фронта. В лагерь прибыли триста евреев из Лодзинского гетто — немцы вывезли их перед самым наступлением русских. Через них до нас дошла весть о легендарном восстании в Варшавском гетто. Еще они рассказали, как немцы год назад ликвидировали люблинский лагерь** — подожгли бараки и с четырех углов зоны стреляли из пулеметов: цивилизованный мир ничего об этом не узнает. А когда наша очередь?

* Корпус (нем.).

** Имеется в виду концентрационный лагерь Майданек.

Утром капо, как обычно, разбивает нас на бригады. Десять человек с хлорида магния — на хлорид магния! Те уходят медленно, еле волоча ноги, потому что хлорид магния — тяжелейшая работа: целый день по шиколотку в ледяной соленой воде, которая разъедает башмаки, ткань, кожу. Капо поднимает камень и запускает им в уходящих. Они неуклюже уворачиваются, но шагу не прибавляют. Почти как ритуал, это повторяется изо дня в день, но вовсе не должно означать, что капо их непременно накажет за медлительность.

Четверо — на Scheisshaus! — и четверка, приписанная к строительству нового сортира, отправляется на свой объект. Надо сказать, что после прибытия транспортов из Лодзи и Трансильвании численность нашей команды увеличилась, в ней теперь больше пятидесяти человек, и какой-то неведомый немец-бюрократ, ответственный за все эти дела, распорядился построить *Zweiplatziges Kommandoscheisshaus* — двухместный сортир исключительно для нашей команды. Разумеется, мы чувствуем себя польщенными и гордимся, что принадлежим к команде, которой оказана столь высокая честь. Правда, при этом мы лишаемся наиболее простого предлога отлучиться со своего рабочего места не только по прямой надобности, а еще и для того, чтобы провернуть кое-какие делишки с вольными. Но положение обязывает, *poblesse oblige*, как говорит Генри, у которого на сей счет свои соображения.

Двенадцать человек — на кирпич. Пять — в распоряжение мастера Дама. Двое — на цистерны. Кого нет? Трех нет. Гомулка утром лег в Ка-бэ, Кузнец умер вчера вечером, Франсуа перевели, куда и зачем — неизвестно. Капо отмечает отсутствующих и доволен, что все сходится. Остаемся только мы, восемнадцать человек с «фенилбета», и придурки.

Вдруг сюрприз: капо говорит, что доктор Паннвитц отобрал из команды троих к себе в лабораторию. Это

Бракье 169 505, Кандель 175 633 и Леви 174 517. Я оглушен, Буна плывет перед глазами. В девяносто восьмой команде три Леви, но Hundertvierundsiebzig Fünfhundertsiebzehn — это точно я. Я — среди трех избранных.

Капо оглядывает нас и зло ухмыляется. Бельгиец, румын и итальянец — одним словом, «французы». Это надо же додуматься, чтобы в лабораторию, в такое райское место «французов» (Franzosen) брать!

Многие товарищи поздравляют нас, и первым — Альберто, искренне, без тени зависти. У Альберто мое везение иронии не вызывает, он за меня очень рад, и не только за меня, но и за себя, потому что тоже на этом выиграет. Мы с ним давно уже дали друг другу слово поровну делить каждый «организованный» кусок, кроме того, сам он не стремился попасть в лабораторию, так что дорогу я ему не перебежал. Мой непокорный друг Альберто слишком свободолюбив, чтобы подлаживаться под систему. Его тянет к чему-то неожиданному, новому; теплому местечку он, не раздумывая, всегда предпочтет неизведанный, трудный путь «свободного художника».

В кармане у меня документ, выданный в Arbeitsdienst, где говорится, что я, хефтлинг 174 517, в качестве рабочего-специалиста имею право на новые трусы и рубашку и обязан бриться каждую среду.

Растерзанная Буна безмолвна и недвижима под первым снегом, как гигантский труп; каждый день завывают сирены воздушной тревоги, русские в восьмидесяти километрах. Электростанция не работает, метанольных колонн больше нет, три из четырех ацетиленовых газометров взлетели на воздух, в лагерь каждый день прибывают новые заключенные из всех лагерей Восточной Польши, которых свозят сюда «в целях безопасности». Меньшая часть направляется на работы, большая — прямым ходом в Биркенау, в печь. Рацион еще умень-

шили. Ка-бэ переполнено, заключенные из воспитательного лагеря занесли скарлатину, дифтерию и сыпной тиф.

А меня, хефтлинга 174 517, назначили специалистом, дали мне разрешение на новую рубашку и новые трусы и обязали бриться каждую среду. Попробуй пойми этих немцев!

В лабораторию мы входим осторожно, недоверчиво, напряженно, точно дикари, попавшие в большой город. Какой здесь гладкий, чистый пол! Лаборатория самая настоящая, как все химические лаборатории: три длинных рабочих стола, заставленных привычными, дорогими сердцу предметами; в углу сушилка со стеклянной посудой; аналитические весы, муфельная печь, термостат. Особый запах, именно так всегда пахнет в лабораториях органической химии. Как наваждение, возникает и тут же исчезает воспоминание: большая полутемная комната в университете, четвертый курс, дуновение майского ветерка, Италия.

Герр Ставинога показывает нам наши рабочие места. Он польский немец, не стар, энергичен, но лицо у него грустное и усталое. Ставинога тоже доктор, но не химических наук (*Ne pas chercher à comprendre* — не пытаться понять), а филологических, тем не менее именно он возглавляет лабораторию. Разговаривает он с нами неохотно, хотя и без особой неприязни. Говорит нам «мсье», это нас смущает и одновременно смешит.

В лаборатории изумительно тепло: на градуснике двадцать четыре градуса. Хорошо бы нам поручили мыть химическую посуду, подметать пол или носить баллоны с водородом, да мы готовы все, что угодно, делать, лишь бы остаться здесь, провести в тепле эту зиму. Работая в лаборатории, мы сможем не только решить проблему зимы, но и проблему голода. Неужели они нас будут каждый день перед уходом обыски-

вать? И даже когда мы попросимся выйти в уборную? Когда в уборную — вряд ли. Здесь и мыло есть, и бензин, и спирт! Я пришью себе потайной карман с внутренней стороны куртки, буду «комбинировать» со знакомым англичанином из мастерской, он как раз бензином приторговывает. Посмотрим, какой у них тут контроль. Я в лагере больше года, я знаю: если кто-то что-то решил украсть, причем подошел к вопросу серьезно, то никакие контроли, никакие обыски не помешают ему осуществить задуманное. Просто не верится! Судьба, идя неисповедимыми путями, распорядилась так, что мы трое на зависть десяти тысячам приговоренных не будем этой зимой страдать ни от голода, ни от холода. Больше того, работа в лаборатории — это шанс уберечься и от опасных болезней, и от обморожений, и даже от селекций. Другие, те, у кого не такой внушительный лагерный опыт, как у нас, могли бы на нашем месте размечтаться, что теперь-де они не пропадут, доживут до свободы. Другие, но не мы. Мы знаем, как это бывает. Улыбнулась тебе судьба — так лови момент, пользуйся! Неизвестно, что будет завтра. Первая же разбитая колба, первая ошибка в измерениях, малейшая оплошность — и тебя вышвырнут на холод, на ветер, снова будешь тянуть ляжку, пока не «вылетишь в трубу». И кто еще знает, что будет, когда придут русские?

Потому что русские точно придут. Земля под нашими ногами сотрясается днем и ночью, в тишине Буны мы постоянно слышим далекий приглушенный гул артиллерии. Воздух наэлектризован ожиданием развязки. Поляки больше не работают, французы подняли головы, англичане подмигивают нам и в знак приветствия незаметно, а иногда и открыто показывают средним и указательным пальцами латинское «V».

Но немцы слепы и глухи, они упорно не желают ничего понимать. В очередной раз назначается твердая дата запуска производства синтетического каучука — первое февраля 1945 года. Немцы строят убежища, ро-

ют окопы, восстанавливают разрушенное, возводят новое, борются, командуют, организуют, убивают. А чего еще от них ждать? Они ведь немцы, их поведение не просчитано и не продумано, просто такова уж их природа, такую судьбу они себе выбрали. Обнаружив рану на теле умирающего, они будут лечить ее, забыв что сам умирающий вот-вот отойдет, а иначе они не могут.

Теперь капо первым делом, до того, как распределить бригады по объектам, выкликает нас — «трех людей из лаборатории», «die drei Leute vom Labor». В лагере, утром и вечером, я ничем не отличаюсь от общей серой массы, зато днем, на работе — я под крышей, в тепле, и никто меня не шпыняет. Без особого риска я ворую и продаю бензин и мыло, возможно, мне даже выдадут талон на кожаные ботинки. Впрочем, разве то, чем я занимаюсь, можно назвать работой? Работать — это разгружать вагоны, таскать балки, дробить камни, копать землю, перекладывать голыми руками ледяное железо. А я весь день сижу, у меня есть тетрадь и карандаш, мне даже книгу дали, чтобы я освежил в памяти методы анализов. Шапку и рукавицы я прячу в специально выделенный для меня ящик, а когда хочу выйти, мне достаточно отпроситься у герра Ставиноги, который, судя по его страдальческому виду, принимает происходящее вокруг близко к сердцу. Ставинога мне никогда не отказывает и, если я вдруг задержался, никогда не требует объяснений.

В команде мне завидуют, и я своих товарищей понимаю: мне действительно повезло. Едва утром, преодолев яростный ветер, я переступаю порог лаборатории, сразу же, как в Ка-бэ, как в нерабочие воскресенья, как в каждую минуту передышки, рядом со мной появляется боль — спутница моих воспоминаний, моих мучительных мыслей о попоранном человеческом достоинстве. Стоит моему сознанию хоть на миг

проясниться, эта боль терзает и рвет меня на части. Тогда я беру карандаш, тетрадь и пишу то, что никому не осмелился бы рассказать.

И еще здесь есть женщины. Сколько месяцев я не видел женщин? В Буне изредка встречаются украинки и польки в брезентовых штанах и куртках, такие же крепкие и грубые, как их мужчины. Летом потные и растрепанные, закутанные зимой, они орудуют лопатой и кайлом и не похожи на женщин.

В лаборатории девушки другие. Когда они рядом, мы трое готовы сквозь землю от стыда провалиться. Мы смотрим друг на друга, видим иногда собственное отражение в стекле и знаем, как жалко и непривлекательно выглядим. Наши головы, лысые по понедельникам, покрываются к субботе темноватым мхом. Лица распухли и пожелтели, на них болячки, синяки, порезы, оставленные бритвой торопливого брадоброя. Худые пупырчатые шеи похожи на шеи оципанных кур. Одежда невероятно грязна, в масляных и кровавых пятнах. У Канделя такие короткие штаны, что из них выглядывают костлявые волосатые ноги, на мне куртка болтается, как на вешалке. Нас кусают блохи, и мы постоянно чешемся, неприлично часто отпрашиваемся в уборную. Наши башмаки на деревянной подошве, в наростах застарелой, замазанной ваксой грязи, невыносимо стучат. И еще наш запах. Сами мы к нему привыкли, но девушкам он противен, и они этого не скрывают. Это не запах грязного тела, а запах хефтлинга — особый, чуть приторный, приставший к нам с первого же лагерного дня, пропитавший наши бараки, кухни, умывальни и сортиры. Он неотделим от нас, с первой минуты и до последней. «Такой молодой, а уже смердишь», — шутим мы, встречая вновь прибывших.

Нам девушки из лаборатории кажутся неземными созданиями. Три из них — молоденькие немки, фрейлейн Лижба — полька, и еще есть секретарша, фрау Майер. У них гладкая розовая кожа, красивые, яркие

и чистые платья, светлые, аккуратно уложенные волосы. Говорят они жеманно и вместо того, чтобы прибраться и наводить порядок в лаборатории, что входит в их обязанность, курят в углу, беззастенчиво едят хлеб с джемом, подпиливают ногти, бьют посуду и сваливают вину на нас. Подметая пол, они задевают метлой наши ноги. С нами они не разговаривают, отворачиваются и морщатся, когда мы, нелепые, жалкие и грязные, проходим мимо своими шаркающими неуверенными походками. Однажды я обратился с каким-то вопросом к фрейлейн Лижбе, но она мне не ответила и, обернувшись раздраженно к Ставиноге, что-то быстро ему сказала. Смысла фразы я не понял, но слово «Stinkjude»* слышал хорошо, и меня обдало жаром. После этого Ставинога предупредил меня, что по всем вопросам я должен обращаться непосредственно к нему.

Как и все девушки во всех лабораториях мира, эти тоже поют песни, которые берут нас за душу. Между собой они разговаривают про карточки, про своих женихов, про свои дома, про приближающиеся праздники...

— Едешь в воскресенье домой? А я не поеду, дорога такая утомительная!

— Я на Рождество еду. Через две недели уже Рождество, даже не верится, этот год так быстро прошел!

Этот год быстро прошел... В прошлом году в это же время я был свободным человеком. Вне закона, но свободным. У меня было имя, семья, пытливый беспокойный ум и ловкое здоровое тело. Я думал о своей работе, об окончании войны, о добре и зле, о природе вещей, о законах человеческого поведения. И еще о горах, любви, музыке, поэзии. Я любил петь; безгранично, непоколебимо, глупо верил в свою счастливую судьбу; к убийству и смерти относился как к понятиям отвлеченным, из области литературы. У меня случались

* Вонючий еврей (нем.).

радостные дни, случались грустные, но все они были насыщены и важны, все одинаково мне дороги; будущее рисовалось по-настоящему счастливым. От той далекой жизни осталось во мне ровно столько, что едва хватает на мысли о голоде и холоде. О самоубийстве — уже не хватает; чтобы решиться покончить с собой, надо быть более живым.

Если бы я лучше говорил по-немецки, я бы попробовал объяснить все это фрау Майер, но она наверняка не поняла бы меня, но, даже если бы ей хватило ума и чуткости понять, она отшатнулась бы от меня, как от заразного больного или приговоренного к смерти. А может, подарила бы талон на пол-литра вольного супа.

Этот год прошел быстро.

ПОСЛЕДНИЙ

Скоро Рождество. Мы с Альберто шагаем рядом, плечом к плечу, сгибаясь под сильным встречным ветром. Темно, валит снег. Идти тяжело, тем более в ногу. То и дело кто-нибудь из идущих впереди спотыкается, падает в черную грязь, и нужно быть начеку, чтобы, не нарушая строя, обогнуть упавшего и снова подладиться под общий шаг.

С тех пор как меня взяли в лабораторию, мы с Альберто работаем врозь, поэтому по дороге в лагерь нам теперь есть что обсудить друг с другом. Обычно мы говорим не о высоких материях; наши разговоры — о работе, товарищах, хлебе, холоде. Но неделю назад у нас появилась новая тема для разговоров: Лоренцо каждый вечер передает нам три, а то и четыре литра *Zivilsuppe* — супа вольнонаемных итальянцев. Чтобы решить проблему транспортировки, мы с Альберто позаботились о специальной посуде, которую здесь все называют польским словом «*menażka*». Это самодельный судок из оцинкованной жести, нечто среднее между ведерком и котелком. Жестящик Зильберлюст за три пайки хлеба смастерил его нам из обрезка водосточной трубы. Получилась великолепная емкость, прочная и вместительная, в эпоху неолита такое изделие произвело бы революцию.

Ни у кого во всем лагере подобного судка не было, разве только кто-то из греков мог похвастаться, что у него *menażka* больше нашей. Помимо чисто практической выгоды наше приобретение принесло нам и ощутимое улучшение социального положения. Такая *menażka*, как у нас, — все равно что дворянский титул или родо-

вой герб. Для Генри мы стали лучшими друзьями, он теперь разговаривает с нами как с равными. В голосе Л. звучали добросердечные отеческие нотки. Элиас, который вечно все вынюхивает, неутомимо ходит за нами по пятам, пытаясь выследить источник нашего «организованного» дохода, при этом он рассыпается в непонятных любезностях, клянется в своей поддержке и дружбе и поливает нас без конца отборнейшими итальянскими и французскими ругательствами (непонятно, где он научился всем этим непристойным словам), чем явно рассчитывает доставить нам удовольствие.

Если говорить о нашем настроении, то поправившееся положение дел, решили мы с Альберто, — еще не повод, чтобы задирать нос. Гордиться тут особенно нечем, хотя, честно говоря, иногда трудно удержаться. Главное — у нас есть интересная тема для разговоров, это тоже преимущество, и немалое.

Мы обсуждаем новые планы: нам нужна вторая menażка, на обмен, чтобы не два раза ходить в дальний конец стройки, где работает сейчас Лоренцо, а один. Мы говорим о Лоренцо, думаем, как его отблагодарить. Конечно, потом, если вернемся, мы обязательно сделаем для него все, что будет в наших силах, но какой толк загадывать вперед? Вряд ли мы вернемся, это и ему, и нам ясно, поэтому если делать что-то, то сейчас, не откладывая на потом. Мы могли бы попытаться починить ему ботинки в лагерной сапожной мастерской, где обувь чинят бесплатно (в лагерях уничтожения по закону все бесплатно). Альберто обещает спросить у своего приятеля, старшего сапожника, может, удастся договориться за пару литров супа.

Но чем мы действительно можем гордиться — так это тремя недавно провернутыми операциями, и нам обоим обидно, что приходится держать их в секрете из соображений профессиональной тайны. Если бы мы только могли похвалиться своим удачами, насколько бы вырос наш авторитет в глазах окружающих!

Первая из них — моя заслуга. Я узнал, что старосте сорок четвертого блока нужны метлы, и украл одну в каптерке. Украсть-то легко, а вот пронести в лагерь — трудно, но я эту проблему решил, причем, как мне кажется, довольно остроумным способом, а именно расчленив украденный мной предмет обихода, или, проще говоря, отделив саму метлу от палки. Палку, в свою очередь, я распилил пополам и в лагерь все проносил по частям (половинки палки, например, я пронес в штанах, привязав к ногам). В лагере мне пришлось раздобывать гвозди, молоток и полоску жести, чтобы скрепить распиленную палку. Вся операция в целом заняла четыре дня.

Вопреки моим опасениям заказчик не только не забраковал мою метлу, но даже похвастался ею, как своего рода курьезом, перед несколькими приятелями, после чего я получил заказ еще на две метлы «той же модели».

Но до Альберто мне далеко. Сначала он придумал операцию «напильник» и дважды с успехом ее осуществил. Заключалась она в следующем: Альберто приходит на склад, просит напильник и выбирает самый большой. Кладовщик в своей книге записывает регистрационный номер Альберто и помечает, что взят «один напильник». После этого Альберто направляется к надежному вольнонаемному из Триеста (этот пройдоха из пройдох был хитрее самого дьявола и помогал Альберто не из корысти или филантропии, а исключительно из любви к искусству), которому не составляет труда обменять на свободном рынке большой напильник на два маленьких, причем иногда даже с хорошим наваром. Один напильник Альберто возвращает на склад, второй продает.

Но главное его достижение, вершина его творчества — это хитроумная операция последних дней, проведенная с необыкновенным блеском. Надо сказать, что уже несколько недель Альберто выполняет особое задание: каждое утро на стройке ему вручают ведро с клещами, отверткой и несколькими сотнями разноцветных целлулоидных табличек, которые он обязан прикреплять в специально предусмотренных местах на

многочисленные трубы, пересекающие во всех направлениях полимерный цех, чтобы можно было разобрать-ся, где горячая и холодная вода, где перегретый пар, сжатый воздух, газ, мазут, вакуум и т.д. и т.п. Еще надо сказать, что мытье в душе для нас, хефтлингов, — крайне неприятная процедура. (На первый взгляд может показаться, что душ к нашей теме не относится, но разве человеческому гению не свойственно делать открытия благодаря, казалось бы, случайным и не относящимся к делу событиям или фактам?) Неприятна эта процедура по нескольким причинам (мало воды, она холодная или, наоборот, как кипяток; негде раздеться, нет ни мыла, ни полотенца, пока ты стоишь под душем, тебя вполне могут обчистить), и, поскольку она принудительная, старосты блоков изобрели такую систему контроля, которая позволяет им выявлять и наказывать уклонившихся: доверенное лицо старосты становится в дверях и, как Полифем, ощупывает всех, кто выходит из душевой. Если мокрый — получай карточку, если сухой — пять ударов плетью. Только по предъявлении карточки на следующее утро тебе выдадут хлебную пайку.

Внимание Альберто привлекли именно эти карточки, а вернее, жалкие кусочки бумаги, которые сразу комкаются, намокают и уже никуда не годятся. Альберто знает немцев, а все старосты блоков — немцы или их достойные ученики, они аккуратны, обожают учет и порядок, но, будучи хамами и дикарями, еще и питают детскую любовь ко всему яркому и пестрому.

Таким образом, сначала была обозначена проблема, потом родилась блестящая идея ее разрешения. Альберто регулярно подворовывал таблички одинакового цвета. Из одной таблички получалось три кружочка (подходящий инструмент — пробковое сверло — я стащил в лаборатории). Когда были готовы двести кружочков (на блок в двести человек), Альберто предложил этот «экс-клюдив» старосте своего блока за неслыханную цену — десять хлебных паек в рассрочку. Староста с радостью

согласился, после чего целлулоидные кружочки пошли нарасхват, Альберто поставлял их во все бараки, причем в каждый — разного цвета (ни один староста не решился прослыть скрягой или ретроградом). И что самое важное — Альберто не угрожала конкуренция, поскольку доступ к исходному, сырьевому материалу был только у него. Чем плохо придумано?

Так, переступая через лужи, мы идем по грязи под темным небом и разговариваем. Разговариваем и идем. У меня в руках два пустых котелка, у Альберто полная *menazka*, но, как говорится, своя ноша не тянет. Подходим к лагерю: в очередной раз музыка, *Mützen ab** перед постом СС, в очередной раз надпись над воротами «*Arbeit macht frei*», рапорт капо «*Kommando 98, zweiundsechzig Häftlinge, Stärke stimmt***», сейчас раздается «вольно»... но колонну не распускают, а гонят на площадь для переключек. Неужели пересчет? Нет, другое. Площадь залита светом прожекторов, виден контур виселицы.

Проходит еще не меньше часа, пока, стуча деревянными подошвами о подмерзшую землю, не входят в лагерь последние колонны. Когда все наконец выстроились, оркестр стихает и грубый немецкий голос требует тишины. Над затихшей в одну секунду площадью разносится другой немецкий голос, он враждебно и долго звучит в злом холодном воздухе. В конце концов к ярко освещенной виселице подводят приговоренного.

Вся эта церемония, весь этот чудовищный ритуал нам уже знаком. С тех пор как я в лагере, мне пришлось присутствовать на тринадцати публичных казнях. Все тринадцать несчастных были приговорены к повешению за такие преступления, как кража на кух-

* Шапки долой (*нем.*).

** Команда девяносто восьмая — вся, шестьдесят два заключенных (*нем.*).

не, саботаж, попытка побега. Но сегодняшний случай — другой.

В прошлом месяце в Биркенау взорвали один из крематориев. Никто из нас не знает (и, скорее всего, никогда не узнает) подробностей, но очевидно, что это было делом рук Sonderkommando — специальной команды, обслуживающей газовые камеры и печи, которую содержат в строгой изоляции от остальных заключенных и периодически полностью уничтожают. Факт, однако, остается фактом: в Биркенау несколько сот человек, таких же беспомощных, изнуренных рабов, как и мы, нашли в себе силы протестовать и выразили переполнявшую их ненависть конкретным действием.

Человек, которому предстоит сегодня умереть на наших глазах, — один из них. Говорят, он участвовал в мятеже, доставал оружие, осуществлял связь с другими лагерями, в частности с нашим, где тоже планировалось поднять заключенных. Сегодня он умрет здесь, на площади, и до немцев никогда не дойдет, что для него эта смерть, к которой они его приговорили, смерть в одиночку, смерть по-человечески — не позор, а высокая честь.

Когда немец заканчивает свою никому не понятную речь, снова слышится тот первый грубый голос, он спрашивает, все ли понятно:

— Habt ihr verstanden?

Кто это говорит Jawohl? Все и никто. Словно наша проклятая покорность отделяется от нас и, материализовавшись, сама отвечает нашими голосами, которые сливаются в общий хор. И тут мы слышим крик приговоренного. Этот крик проникает сквозь завесу отупения и безразличия, стараясь пробиться к живой человеческой душе каждого из нас:

— Kameraden, ich bin der Letzte (товарищи, я последний)!

Если бы я мог сказать, что в нашем позорном стаде раздался один сочувствующий голос, или возглас, или

хотя бы вздох... Но этого не было. Мы как стояли, так и продолжали стоять серой толпой — сникшие, с опущенными головами, в шапках, и, только когда немец приказал нам их снять, мы их сняли. Ноги казненного повисли над пустотой, его тело задергалось в конвульсиях, заиграл оркестр, и мы, вновь построившись, колонна за колонной пошли перед повешенным, по телу которого еще пробегала дрожь.

Эсэсовцы у подножья виселицы безучастно смотрят, как мы движемся мимо них. Они сделали свое дело, сделали хорошо. Пусть теперь приходят русские: здесь больше не осталось ни одного сильного человека, последний болтается на веревке у нас над головами, а из нас самих можно веревки вить. Пусть русские приходят, они найдут здесь только безвольных, безучастных существ, которых и убивать нет смысла — они сами подохнут.

Уничтожить человека трудно, почти так же трудно, как и создать. Но вам, немцы, это в конце концов удалось. Смотрите на нас, покорно идущих перед вами, и не бойтесь: мы не способны ни на мятеж, ни на протест, ни даже на осуждающий взгляд.

Альберто и я возвращаемся в барак, не смея поднять глаз друг на друга. Тот сильный человек наверняка был из другого теста, раз в таких же условиях, как и мы, не согнулся, устоял.

А мы сломались, мы побеждены. Хотя и приспособились, научились в конце концов добывать себе еду, переносить тяжелый труд, холод. Хотя, возможно, и вернемся.

Мы забрались на нары, мы разделили поровну суп, мы утолили наш яростный голод, и тогда нам стало стыдно.

ИСТОРИЯ ДЕСЯТИ ДНЕЙ

Одиннадцатого января 1945 года я заболел скарлатиной и вторично попал в Ка-бэ, на этот раз — в Infektionsabteilung (инфекционное отделение). К этому времени мы уже много месяцев подряд слышали с перерывами грохот русских пушек. Так называемое инфекционное отделение представляло собой одну, правда очень чистую, палату на десять коек. В комнатке три на пять метров кроме двухэтажных нар помещались шкаф, три табуретки и стульчак с ведром для отправления естественных нужд.

Забираться на верхний ярус из-за отсутствия лестниц было трудно, поэтому, когда больному становилось хуже, его переводили вниз.

При поступлении я оказался в палате тринадцатым. Из двенадцати остальных четверо (два «политических» француза и два еврейских парня из Венгрии) были, как и я, больны скарлатиной, трое — дифтерией, двое — тифом; один лежал с малопривлекательным рожистым воспалением лица и еще двое не с одной, а сразу с двумя заразными болезнями; эти были совсем плохи.

У меня держалась высокая температура. К счастью, мне досталась свободная койка, и я с облегчением растянулся на ней, зная, что мне положено сорок дней карантина, а значит, отдыха. Я полагал, что здесь, в Ка-бэ, смогу избежать как осложнений болезни, так и селекций.

Благодаря солидному лагерному опыту я пронес с собой кое-какие личные вещи: плетеный пояс из электрического провода, ложку-нож, иголку с тремя моточ-

ками ниток, пять пуговиц и, наконец, восемнадцать украденных в лаборатории кремней. Если каждый из них аккуратно распилить ножом, можно получить три маленьких, как раз для зажигалок. Каждый такой кремь стоил шесть, а то и семь хлебных паек.

Первые четыре дня прошли спокойно. Стояли морозы, за окном падал снег, но в бараке было жарко. Я получал большие дозы сульфамидного препарата, меня все время тошнило, аппетита не было, разговаривать ни с кем не хотелось.

Два больных scarлатиной француза оказались симпатичными. Оба родом из Вогез, они попали в лагерь всего несколько дней назад с большим транспортом гражданских, которых сгребли напоследок отступающие из Лотарингии немцы. Старшего — худого и маленького — звали Артур, он был крестьянином. Его тридцатидвухлетний товарищ по нарам был школьным учителем, его звали Шарль. Вместо рубашки Шарлю выдали в Ка-бэ нелепую, едва доходящую до пупа майку.

На пятый день появился брадобрей, грек из Салоник. Он изъяснялся только на своем родном языке; из других, распространенных в лагере языков, понимал лишь отдельные слова. Звали его Ашкенази, в лагере он был уже три года. Не знаю, как ему удалось заполучить должность «парикмахера» санчасти: ни немецким, ни польским он не владел и вид у него был вполне человеческий. До того как войти, он долго и взволнованно разговаривал в коридоре с врачом, своим земляком. Выражение его лица меня немного насторожило, впрочем, поскольку у левантинцев мимика не такая, как у нас, трудно было понять, то ли он напуган, то ли обрадован, то ли просто возбужден. Он знал меня, вернее, знал, что я итальянец.

Когда подошла моя очередь, я с трудом спустился с нар. Спросил его, что слышно нового. Он прервал бритье, многозначительно и торжественно закатил глаза,

мотнул головой в сторону окна, широким жестом показал на запад и сказал:

— Morgen, alle Kamarad weg (завтра, все товарищ уходить).

Потом посмотрел на меня в упор, ожидая удивленной реакции, и добавил:

— Todos, todos (все, все), — и снова взялся за бритву.

Ему было известно про мои камешки, поэтому бритвой он орудовал с большой деликатностью.

Сообщение не произвело на меня особого впечатления. Уже много месяцев я испытывал боль, радость и страх лишь особым, характерным для лагеря образом; сравнимые с кратким и далеким отзвуком самого чувства, они скорее могли быть названы условными. Я даже подумал: прежде, когда я еще умел чувствовать, меня эта новость наверняка бы взволновала. Сейчас же я оставался абсолютно спокойным. Мы с Альберто и раньше предвидели, что эвакуация и освобождение лагеря будут сопряжены с большими опасностями. Кроме того, принесенная Ашкенази новость лишь подтверждала циркулировавшие уже много дней слухи, что русские заняли Ченстохову в ста километрах к северу и Закопане в ста километрах к югу и что немцы минируют Буну.

Я обвел глазами своих соседей: с ними этот вопрос обсуждать бессмысленно, в лучшем случае услышу от них что-то вроде «Неужели?» — и на этом разговор закончится.

Французы — дело другое, они еще не успели окончательно сникнуть.

— Слышали? — спросил я их. — Завтра лагерь эвакуируют.

Они стали наперебой задавать вопросы:

— Куда эвакуируют? Пешком поведут? Больных тоже? А кто сам не может идти? — Им было известно, что в лагере я давно, могу объясняться по-немецки, и они решили, будто я знаю больше, чем говорю.

И сколько я их ни уверял, что ничего от них не скрываю, они не верили и продолжали спрашивать. Совсем замучили меня своими вопросами.

К вечеру пришел врач-грек. Он сказал, что все ходячие больные получают одежду и обувь и завтра отправятся вместе со здоровыми. Предстоит пройти пешком двадцать километров. Те, кто не смогут идти, останутся в Ка-бэ, и легким придется взять на себя уход за тяжелыми. Я этого врача знал, он производил впечатление умного, знающего, эгоистичного и расчетливого человека. Сейчас он показался мне слишком веселым, возможно, был пьян. Еще он сказал, что всем без исключения выдадут по три пайки хлеба. Это обитателей палаты заметно воодушевило. Мы спросили его, что ждет нас. Скорее всего, сказал он, немцы отпустят больных на все четыре стороны. Нет, он не думает, что нас убьют. При этом он не особенно умело скрывал свою уверенность в обратном — подтверждением тому была его наигранная веселость. Сам он уже успел экипироваться для похода.

Едва он вышел, взволнованно заговорили между собой венгры. Эти парни поправлялись, но чувствовали себя еще очень слабыми. Похоже, они боялись остаться в лагере с больными и собирались уйти со здоровыми. Их решение нельзя было назвать осознанным, скорее, они поддались стадному чувству. Не будь я так обессилен болезнью, возможно, тоже поддался бы панике и бросился бы очертя голову вместе со всеми, ведь испуганный человек всегда стремится спастись бегством.

Даже у нас в палате чувствовалось, что в лагере царит суматоха. Один из венгров куда-то ушел, но вскоре вернулся с ворохом тряпья. Грязные лохмотья он, скорее всего, раздобыл на складе, среди вещей, подготовленных к дезинфекции. Он и его товарищ стали су-

дорожно натягивать на себя всю эту одежду, при этом они очень спешили, словно боялись передумать.

С их стороны было полным безрассудством надеяться пройти по снегу, в чужих, только что найденных где-то башмаках двадцать километров. Ослабленные болезнью, вряд ли они выдержат и час пешего пути. Я попытался им это объяснить, но они только посмотрели на меня со страхом, как испуганные животные, и ничего не сказали. На мгновенье я засомневался: а вдруг правы они, а не я?

Венгры неуклюже вылезли в окно и, пошатываясь, пошли прочь. Я смотрел им вслед, пока их закутанные бесформенные фигуры не скрылись в ночи. Назад они не вернулись. Потом я узнал, что уже через пару часов они выбились из сил и эсэсовцы их прикончили.

Я вновь заколебался и решил на всякий случай обзавестись обувкой. Прошел целый час, пока я, борясь со слабостью и тошнотой, стуча зубами от озноба, добрался до коридора и нашел там пару башмаков. Здоровые успели растащить обувь больных, выбрав, разумеется, что получше; стоптанные же, дырявые и непарные башмаки были раскиданы по всем углам. В коридоре я встретил эльзасца Космана, бывшего корреспондента агентства Рейтер в Клермон-Ферране. Он тоже был очень возбужден.

— Если ты попадешь домой раньше меня, — сказал он, — напиши мэру Меца, что я скоро буду.

Всем известно, что Косман водил дружбу с придурками, поэтому его оптимизм послужил для меня добрым знаком и одновременно веским аргументом в пользу желания остаться. Спрятав башмаки, я вернулся в палату и лег.

Поздно ночью снова появился врач. Он был в вязаном альпийском шлеме, с вещевым мешком за спиной. Бросив мне на койку французский роман, он сказал:

— Бери, итальянец, читай. Отдашь, когда встретимся.

Я до сих пор ненавижу его за эти слова. Уж кто-кто, а он наверняка знал, что мы приговорены.

Было уже поздно, когда под окном появился Альберто. Наплевав на запрет, он пришел проститься. Впрочем, скарлатиной он переболел еще в детстве, так что не мог от меня заразиться. Он был частью меня самого, нас называли «два итальянца», товарищи из других стран путали наши имена. Шесть месяцев мы делили с ним нары, каждый грамм «организованной» сверх рациона еды. И вот теперь он уходил, а я оставался. Простились мы коротко, почти без слов, все слова давно были нами сказаны. Мы не сомневались, что расстанемся ненадолго. Альберто нашел где-то еще вполне хорошие кожаные ботинки на толстой подошве, он всегда находил то, что ему было нужно.

Как и все, кто уходил, Альберто был весел и полон оптимизма, да это и понятно: приближалось что-то грандиозное, новое; крепла другая, уже не германская сила, у нас на глазах рушился и трещал по швам проклятый мир, и это чувствовали все. Ну если не все, то здоровые во всяком случае, те, кто хоть и был истощен и измучен, но имел еще силы двигаться. Что касается совсем немощных, прикованных к больничным койкам, оставшихся без одежды и без обуви, те, естественно, думали иначе, их неотступно преследовала мысль о том, что они абсолютно беззащитны и брошены на произвол судьбы.

Все здоровые (за исключением особо осведомленных, которые в последнюю минуту укрылись в Ка-бэ на больничных койках) ушли из лагеря в ночь на восемнадцатое января 1945 года. Всего около двадцати тысяч заключенных из разных лагерей. И почти все, в том числе и Альберто, пропали без вести во время этого перехода. Возможно, когда-нибудь кто-то о них напишет.

Мы же остались наедине со своими болезнями и апатией, которая была сильнее страха.

Во всем Ка-бэ больных насчитывалось примерно восемьсот, а в инфекционном отделении после ухода венгров нас осталось одиннадцать. Кроме Артура и Шарля, деливших нары на двоих, все лежали теперь по одному. Огромная, бесперебойно работавшая лагерная машина остановилась, для нас начались десять дней вне мира и вне времени.

18 января. В ночь эвакуации кухни еще работали, поэтому на следующее утро нам последний раз раздали суп. Центральную котельную уже отключили, температура в бараках начала опускаться, с каждым часом становилось все холоднее, и мы поняли, что скоро замерзнем окончательно. Снаружи было около двадцати градусов мороза, многие больные лежали в одних рубашках, а некоторые и без них.

Что с нами будет — мы не знали; часть эсэсовцев оставалась в лагере, на некоторых вышках еще находилась охрана.

Около полудня обершарфюрер СС обошел все бараки, в каждом назначил старшего из неевреев и приказал немедленно составить списки больных, евреев и неевреев отдельно. Все было предельно ясно: немцы до последнего не изменили своей национальной любви к классификациям, поэтому ни один еврей не надеялся дожить до следующего утра.

Новички-французы испугались, хотя ничего не поняли. Переводя им без особого энтузиазма распоряжения эсэсовца, я с трудом сдерживал раздражение. Подумаешь, сердился я про себя, в лагере без году неделя, что такое настоящий голод — не знают, по национальности — не евреи, и еще чего-то боятся!

Последний раз дали хлеб. Остаток дня я провел за чтением оставленной греком книги. Она была очень интересная, я и теперь помню ее во всех подробностях. Потом я отправился в соседнее отделение на поиски одеял. Многие больные ушли со здоровыми, поэтому

свободных одеял осталось много. Я забрал несколько, выбрав те, что потолще.

Артур, когда узнал, что одеяла из дизентерийного отделения, скривил нос:

— *Y-avait point besoin de le dire**.

Одеяла, конечно, нельзя было назвать чистыми, но я считал, что лучше спать под испачканными одеялами, чем дрожать от холода, особенно когда не знаешь, что тебя ждет завтра.

День прошел быстро, а когда стемнело, в бараке, как обычно, зажегся свет, и мы с недоумением обнаружили в углу барака вооруженного эсэсовца. Я не испытывал страха, вернее, я уже говорил об этом, испытывал его отдаленно, условно. Разговаривать ни с кем не хотелось, я снова взялся за книгу и долго читал.

Около одиннадцати (приблизительно, конечно, ведь часов у нас не было) свет вдруг отключился, даже сторожевые вышки погрузились во тьму. По горизонту шарили прожектора противовоздушной обороны, в небе повисла гроздь осветительных ракет, послышался нарастающий гул самолетов, потом началась бомбардировка.

Я спустился с нар, обулся. Сначала бомбы падали далеко, но вот грохнуло совсем рядом, и, прежде чем я успел что-то сообразить, меня оглушил второй взрыв, потом третий. Посыпались стекла, барак заходил ходуном, звякнула ложка, которую я засовывал в щель между досками.

Все, кажется, улетели. Молодой крестьянин Каньолати, тоже из Вогез, под бомбежку попал впервые. Соскочив голым со своих нар, он забился в угол и выл.

Уже через минуту стало ясно, что бомбы попали в лагерь: два барака пылали, от двух других вообще ничего не осталось. К счастью, они стояли пустые. Несколько десятков человек, опасаясь, что и их барак загорится, стали проситься к нам. Они были раздеты,

* Лучше бы ты мне не говорил (*фр.*).

дрожали от холода. Мы не могли бы их всех разместить. Они умоляли и угрожали на разных языках. Пришлось забаррикадировать дверь. Тогда они ушли. В свете пожара мы видели, как они ступали босыми ногами по снегу, за некоторыми тянулся шлейф размотанных бинтов. Наш барак не пострадал, если не считать разбитых окон.

Немцев больше нет. Вышки опустели.

Сегодня я думаю: не будь Освенцима, никто в наши дни не говорил бы о Провидении. Но в ту минуту мысль о спасении в библейском понимании этого слова, как дуновение ветра, коснулась наших душ.

Мы не спали. Барак продувался насквозь, было страшно холодно. Я понял, что главное сейчас — найти печку, запастись дровами или углем, раздобыть съестное. Но как это сделать? Одному, без помощи товарищей, мне с такой задачей не справиться, я слишком слаб. Надо поговорить с французами.

19 января. Артур и Шарль согласны. Едва за окном начинает светлеть, мы встаем. Меня качает от слабости, я чувствую себя совершенно больным. Мне холодно и страшно.

Остальные смотрят на нас с любопытством и одновременно с уважением. Куда это мы собрались, можно прочесть в их глазах, ведь больным не разрешается выходить из Ка-бэ. А если не все немцы ушли? Но вслух никто ничего не говорит, наши товарищи рады, что нашлись смельчаки, готовые выйти и разведать обстановку.

Французы совсем не ориентировались в лагере, зато Шарль был смелый и сильный, а Артур отличался смекалкой и практичным крестьянским умом. Завер-

нувшись в одеяла, мы вышли из барака. Было морозное туманное утро, дул ветер, одеяла почти не грели.

То, что нам открылось, не было похоже ни на что — ни на один театральный спектакль, который я когда-либо видел, ни на одну прочитанную книгу. Едва успев умереть, лагерь уже разлагался. Не стало ни воды, ни электричества; сорванные с петель окна и двери хлопали на ветру, скрежетало свисающее с крыш железо, вокруг летал пепел. Что не сделали бомбы, довершали люди: отощавшие, похожие на скелеты, но еще способные передвигаться, они, как черви, ползали по снегу, копошились в опустевших бараках, выискивая еду и дрова, с бессмысленной яростью громили Tagesräume, где с комфортом жили ненавистные старосты и куда до сегодняшнего дня простым хефтлингам вход был воспрещен. Утратив власть над своими желудками, они испражнялись где попало, пачкая единственный оставшийся в лагере источник воды — драгоценный снег.

Кто-то, сидя прямо на земле, грелся возле догорающих барачков, кто-то тут же пек картошку, озираясь кругом диким взглядом. Были и такие, кому хватило сил и терпения разжечь нормальный костер: эти немногие кипятили в найденных где-то емкостях снег.

Торопясь изо всех сил, Артур, Шарль и я двинулись к кухне. Картошку там уже почти всю разобрали, но наполнить два мешка нам все-таки удалось. Поручив Артуру за ними приглядывать, мы с Шарлем отправились дальше и под развалинами одного из привилегированных блоков нашли наконец, что искали: тяжелую чугунную печку, причем даже с трубой. Шарль раздобыл тачку, мы водрузили на нее свою находку, после чего я двинулся к нашему бараку, а Шарль побежал назад к Артуру, который к тому времени успел окоченеть. Первым делом Шарль занялся мешками, а потом уже своим другом.

Между тем я, стараясь удержать тяжеленную тачку в равновесии, с трудом вез ее в сторону нашего барака, как вдруг услышал шум мотора и увидел эсэсов-

ца на мотоцикле: с каменным лицом он ехал в мою сторону. Как всегда при виде немца в форме СС, я почувствовал смесь страха и злости. Прятаться было уже поздно, к тому же я не мог бросить на произвол судьбы печку. По лагерной инструкции в такой ситуации я обязан встать по стойке «смирно» и снять головной убор. Головного убора у меня не было, стоять по стойке «смирно», закутавшись в одеяло, мне показалось нелепым. Я отошел на несколько шагов от тачки и по-дурацки поклонился. Немец, не заметив меня, проехал мимо, свернул за какой-то барак и скрылся. До меня не сразу дошло, какой я избежал опасности.

Наконец я добрался до барака, где меня уже поджидал Шарль. Когда мы сгрузили печку, я долго не мог отдышаться, перед глазами плавали черные круги.

Теперь требовалось ее установить. Руки не действовали, пальцы прилипали к ледяному металлу, но отступить мы не могли: печка была необходима, чтобы согреть палату, варить картошку. Да мы уже и дров запасли, и каменного угля, набрали на пожарище обгоревших головешек.

Когда было заделано выбитое окно и в печке запылал огонь, мы вздохнули с облегчением. Товаровский (франко-польский еврей, двадцать три года, диагноз: тиф) предложил, чтобы каждый выделил нам троим за работу по кусочку хлеба из своих запасов, и все как один согласились.

Еще вчера такое предложение прозвучало бы просто невероятно. Лагерный закон, гласивший: «Съешь свой хлеб, а если удастся — и хлеб соседа», исключал такое понятие, как благодарность. Теперь же и вправду можно было поверить, что лагерь умер. С первого за все время проявления гуманности начинался новый отсчет: оставшиеся в живых хефтлинги стали снова возвращаться в людей.

Артур отогрелся, пришел в себя, но в дальнейшем выходить на мороз отказался. Зато он обещал следить за

печкой, варить картошку, поддерживать в палате чистоту, ухаживать за больными. Дела, связанные с выходом из барака, остались нашей с Шарлем обязанностью. Еще было светло, и мы решили этим воспользоваться. На этот раз нашей добычей стали пол-литровая бутылка спирта и найденная нами в снегу банка пивных дрожжей. Мне казалось, что дрожжи полезны при авитаминозе, поэтому, деля на всех сваренную картошку, мы поделили и дрожжи: каждому досталось по полной ложке.

Стемнело. Мы были единственные во всем Ка-бэ, у кого топилась печка, и это наполняло нас гордостью. Возле нашей палаты столпились больные из других отделений, но внушительная фигура Шарля удерживала их от самовольного вторжения. Тогда ни они, ни мы не задумывались, насколько опасно вступать в контакт с инфекционными больными, ведь в тех условиях заразиться, например, дифтерией означало то же самое, что выброситься с четвертого этажа.

Даже я, химик, не придавал этому значения. Конечно, я знал, что от болезни можно умереть и что в некоторых случаях, как ни старайся, смерть предотвратить невозможно, но мне и в голову не приходило перебраться в другое отделение или в другой барак, где я меньше бы рисковал чем-нибудь заразиться. Здесь была печка, которую мы принесли и установили своими руками и которая распространяла вокруг себя чудесное тепло; здесь у меня была своя койка, и главное — мы, одиннадцать человек инфекционного отделения, ощущали себя одним целым.

Изредка, то далеко, то совсем близко, слышалась артиллерийская канонада, трещали автоматные очереди. Шарль, Артур и я, сидя в темноте у колеблющегося печного огня, курили найденные в кухне ароматические сигареты и говорили о прошлом и будущем. Среди бесконечного, скованного льдом и опаленного войной пространства, в крошечной темной палате, кишущей микробами, мы были в ладу с собой и с миром.

Уставшие после дневных трудов, мы впервые за долгое время чувствовали настоящее удовлетворение, как, наверное, Бог после первого дня творенья.

20 января. Сегодня утром моя очередь растапливать печку. Я чувствую слабость, каждое движение причиняет боль, похоже, до полного выздоровления еще далеко. От одной мысли, что нужно выходить на мороз и искать огонь по другим баракам, у меня начинается озноб. Но тут я вспоминаю про свои камешки. Намочив спиртом листок бумаги, я терпеливо тру над ним два кремня, так что образуется маленькая горка черного порошка. Потом пытаюсь с помощью ножа высечь искру. Первые сразу же гаснут, но после нескольких попыток бумагу охватывает наконец голубоватое, почти бесцветное пламя.

Артур резво спускается с нар и разогревает оставшуюся со вчерашнего дня вареную картошку — по три штуки на каждого. После не утолившего наш голод завтрака мы с Шарлем, стуча зубами от холода, вновь отправляемся инспектировать бесхозный лагерь.

Запасов продовольствия (в виде картошки) у нас всего на два дня. Воду можно добыть только из снега, но это нелегкая задача: во-первых, нужна большая емкость для кипячения, а у нас такой нет, во-вторых, талую мутную воду необходимо фильтровать.

Вокруг все тихо, только бродят, шаря глазами по земле, голодные обросшие привидения вроде нас — кожа да кости, прикрытые лохмотьями. С трудом передвигая ноги, они обследуют опустевшие бараки и выносят оттуда ставни, ведра, половники, гвозди — все, что можно использовать. Наиболее дальновидные уже вынашивают планы прибыльной торговли с поляками из близлежащих деревень.

В кухне ссора: двое, не поделив десяток гнилых картошек, смешно тузят друг друга замедленными, не-

точными движениями; ругаются на идише, с трудом шевеля замерзшими губами.

Во дворе склада две больших кучи капусты и репы (крупной, безвкусной репы, составлявшей основу нашего питания). И то и другое так смерзлось, что даже кайло не берет. Мы с Шарлем вкладываем в удар все силы и, чередуясь, отбиваем килограммов пятьдесят. Мало этого! Шарль находит еще пакет соли и (*une fameuse trouvaille**) пятидесятилитровый бидон с замерзшей водой.

Грузим все это на тележку (прежде на этих тележках развозили по баракам бидоны с супом, а теперь они раскиданы по всей территории) и толкаем ее перед собой по снегу.

Вечером мы обошлись вареной картошкой и поджаренными на печке ломтиками репы, а на завтра Артур пообещал приготовить кое-что получше.

Во второй половине дня я отправился в бывшую амбулаторию — вдруг попадется что-нибудь полезное? Но я опоздал: амбулатория была не столько разграблена, сколько разгромлена: на полу — осколки от бутылок, испражнения, тряпки, перевязочные материалы, голый скрюченный труп. Но одна вещь не попала в глаза моим предшественникам — аккумулятор от грузовика. Я дотронулся ножом до клемм и убедился, что аккумулятор в порядке.

В тот вечер в нашей палате горел свет.

С нар мне виден большой отрезок дороги. По ней уже три дня волнами движется отступающая германская армия. Броневики, танки «тигр», выкрашенные в маскировочный белый цвет, немцы на лошадях, немцы на мотоциклах, немцы на своих двоих, вооруженные и невооруженные. По ночам скрежет гусениц слышится за-

* Замечательная находка (*фр.*).

долго до того, как на дороге показывается колонна. Шарль спрашивает:

— Ça roule encore?*

— Ça roule toujours**.

Казалось, это никогда не кончится.

21 января. Все, проехали наконец. Когда рассвело, нам открылось ровное белое пустынное пространство, над которым кружили стаи ворон. До смерти грустная картина. Уж лучше бы там что-нибудь двигалось. Вольнонаемные поляки тоже все куда-то подевались, видно попрятались. Даже ветер исчез, словно его посадили под замок.

Мне хотелось только одного: лежать не шевелясь под одеялами, предавшись усталости своих мышц, своих нервов, своей воли, и ждать, когда все кончится или не кончится — не все ли равно?

Но Шарль, надежный, верный, энергичный Шарль, уже затопил печку и призывает меня к работе:

— Vas-y, Primo, descends-toi de là-haut; il y a Jules à attraper par les oreilles...***

Jules — отхожее ведро, которое каждое утро нужно поднять за ручку, вынести на улицу и вывалить в помойную яму. Если учесть, что руки помыть невозможно, что трое из нас больны тифом, то можно представить себе, что это действительно первостепенной важности дело не из самых приятных.

Настало время заняться капустой и репой. Пока я ходил за дровами, а Шарль за снегом, Артур решил мобилизовать тех, кто способен сидеть, на чистку овощей, и Товаровский, Сертелье, Алкалай и Шенк не остались равнодушны к его призыву.

* Еще катят? (фр.)

** Все катят (фр.).

*** Давай, Примо, слезай, пора Жюлю надрать уши... (фр.)

Двадцатилетний крестьянин Сертелье тоже из Вогез. Казалось, он чувствует себя неплохо, но в его голосе день ото дня все явственнее слышится угрожающий прононс — признак того, что коварная дифтерия и не думает отступить.

Спокойный, выдержанный еврей Алкалай, стеклодув из Тулузы, страдает рожистым воспалением лица.

Шенк, тоже еврей, — коммерсант из Словакии. Он поправляется после тифа, и аппетит у него просто неумный.

Наконец, Товаровский. Он глуповат и болтлив, но зато общителен и вселяет в нас оптимизм.

Пока четверо больных, сидя каждый на своих нарах, орудуют ножами, мы с Шарлем отправляемся на поиски помещения, которое могло бы нам служить кухней.

Грязь в лагере неопишуемая. Сортиры никто уже, разумеется, не чистит, поэтому все они переполнены; дизентерийные больные, а их осталось в лагере не меньше сотни, загадили каждый уголок Ка-бэ, заполнили испражнениями все ведра, все бидоны, в которых прежде разносили суп, все котелки. Некуда ногу поставить, шагу ступить, чтобы не вляпаться, а в темноте вообще не выйдешь. И хотя мороз причиняет много страданий, мы с ужасом думаем, что будет, если наступит оттепель: начнутся эпидемии, мы задохнемся от зловония, но самое главное — останемся без воды: снег ведь растает!

После долгих поисков мы нашли наконец в бывшей умывальне небольшой островок еще не окончательно запачканного пола и развели на нем костер. Потом для быстроты подмешали в снег хлорамина и продезинфицировали руки.

Весть о том, что в умывальне варят суп, быстро разнеслась среди еле живых обитателей Ка-бэ, и у двери собрался голодный люд. Шарль, воинственно подняв половник, разразился короткой выразительной тира-

дой, которая, хоть и была произнесена по-французски, в переводе не нуждалась.

Все разошлись, но один — парижский портной экстракласса (как он себя отрекомендовал) — остался. За литр супа он предложил нам сшить пальто из одеял, благо их в Ка-бэ было много.

Слово свое он сдержал. Уже на следующий день у нас с Шарлем были толстые разноцветные штаны, куртки и варежки.

Вечером, после того как первый суп был торжественно поделен и жадно съеден, великое безмолвие за окном нарушилось. Лежа на своих нарах, слишком усталые, чтобы по-настоящему бояться, мы прислушивались к орудийному грохоту, доносившемуся, как казалось, со всех сторон, к шипенью снарядов у нас над головами.

Я думал о том, что до лагеря жизнь была прекрасна и что после лагеря она тоже будет прекрасна, поэтому обидно погибнуть сейчас. Я разбудил тех, кто спал, и, когда убедился, что меня слушают все, сказал сначала по-французски, потом, как мог, по-немецки, что наша задача — вернуться домой и мы должны сделать для этого все, от нас зависящее. И прежде всего запомнить, что можно и нужно, а чего нельзя. Нужно пользоваться только своим котелком и своей ложкой и ни в коем случае нельзя доедать суп за другим; спускаться со своих коек можно только в уборную, а просто так ходить по палате нельзя. Если кому-то что-то понадобится — обращаться к нам троим. Отвечать за дисциплину и следить за соблюдением гигиены — обязанность Артура, он должен неустанно всем напоминать, что лучше оставить невымытыми котелок и ложку, чем перепутать во время мытья свою посуду с посудой тифозного или дифтерийного больного.

У меня сложилось впечатление, что на безразличных ко всему товарищей моя речь не произвела особого впечатления, поэтому все надежды я возлагал на добросовестного Артура.

22 января. Если пренебрежение опасностью считать смелостью, то в то утро нас с Шарлем можно было назвать смельчаками. Решив расширить зону поисков, мы отправились в расположение эсэсовской части, примыкавшей непосредственно к ограждению лагеря.

Похоже, охрана покидала лагерь в большой спешке: на столах стояли тарелки с замерзшим супом, который мы с наслаждением доели, кружки с пивом, успевшим превратиться в желтый лед, шахматная доска с аккуратно расставленными фигурами. Обследовав помещения, мы нашли много замечательных вещей: бутылку водки, разные лекарства, газеты, журналы и четыре великолепных спальных мешка, один из которых теперь у меня дома, в Турине. Не думая об опасности, гордые собой, мы притащили добычу в палату и отдали Артуру. Вечером нам стало известно, что случилось буквально через полчаса после нашего ухода.

Несколько вооруженных эсэсовцев, возможно оставших от своей части, ворвались в немецкую столовую, где расположились восемнадцать французов, и методично, выстрелом в затылок, всех убили. Потом вытащили трупы на снег, сложили рядком и уехали. Восемнадцать трупов так и лежали до прихода русских: ни у кого не было сил их похоронить.

Впрочем, во всех бараках на нарах тоже лежали трупы, и никто не заботился о том, чтобы их выносить. Земля настолько промерзла, что вырыть яму было невозможно. Трупы складывали в траншею, но уже за несколько дней траншея наполнилась, мы наблюдали это жуткое зрелище из своего окна.

Лишь дощатая стена отделяла инфекционное отделение от дизентерийного, где лежало много умирающих и уже умерших. На полу — слой замерзших экскрементов. Ни у кого из больных не было сил вылезти из-под одеяла и отправиться на поиски пропитания, а если кто и уходил, то уже не возвращался помочь оставшимся товарищам. Прямо за стеной, прижавшись друг к другу, чтобы хоть немного согреться, лежали два

итальянца. Я часто слышал, как они разговаривают между собой, но, поскольку сам говорил только по-французски, они долго не догадывались, что за перегородкой, у них под боком — земляк. Однажды они услышали, как Шарль назвал меня по имени (с ударением на первом слове), и стали жалобно просить меня о помощи.

Безусловно, мне хотелось им помочь, хотя бы ради того, чтобы положить конец их душераздирающим мольбам. Вечером, когда все работы были переделаны, я, преодолевая усталость и отвращение, потащился по темному загаженному коридору к ним в отделение, захватив с собой котелок с водой и остатки дневного супа. С тех пор дни и ночи напролет дизентерийное отделение взывало ко мне на всех европейских языках, выкрикивая на разные лады мое имя и добавляя к нему непонятные просьбы. Я был в отчаянии, не знал, что делать.

Ночь приготовила нам плохой сюрприз.

Койку подо мной занимал семнадцатилетний Лакмакер, вернее, то, что от него осталось (когда-то Лакмакер был голландским евреем). Тихий, худой, высокий, он, непонятно каким образом избежав селекций, лежал в Ка-бэ целых три месяца и уже здесь подхватил тиф и скарлатину. Вдобавок у него был тяжелый порок сердца и ужасные пролежни, так что лежать он мог только на животе. Отсутствием аппетита, несмотря ни на что, он не страдал. Говорил только по-голландски, поэтому никто из нас его не понимал.

Возможно, виной всему был суп из капусты и репы, двойную порцию которого Лакмакер съел вечером, во всяком случае, среди ночи он застонал и сорвался с койки. Он торопился к ведру, но, не сделав и шага, упал и стал громко кричать.

Когда Шарль зажег свет (аккумулятор оказался как нельзя более кстати), нам открылась ужасная картина: койка юноши и пол были запачканы экскрементами, от нестерпимого запаха в маленьком помещении скоро

невозможно стало дышать. Ни воды, ни лишних одеял и тюфяков в палате не было, но бедняга кричал и оставить его, дрожащего от холода, на полу в нечистотах казалось невозможным, хотя мы и понимали, насколько опасно убирать за тифозным больным.

Шарль молча слез с нар и оделся. Я ему светил, а он ножом вырезал все запачканные участки тюфяка и одеяла, обтер Лакмакера, насколько это было возможно, соломой из тюфяка, поднял с материнской заботливостью, уложил на прибранные нары животом вниз, как только тот и мог лежать, выскреб пол куском железа, потом развел немного хлорамина и все продезинфицировал.

Я был потрясен его самопожертвованием; не знаю, хватило бы мне самому сил преодолеть апатию и сделать то, что сделал он.

23 января. Картошка у нас кончилась. Уже несколько дней по баракам ходил слух, что где-то недалеко от лагеря, по ту сторону колючей проволоки есть огромное картофелехранилище. То ли какие-то следопыты обнаружили его в результате терпеливых поисков, то ли кто-то знал точное место и указал на него, во всяком случае, утром 23 января в ограждении проделали брешь, и через нее в обе стороны потянулись вереницы оголодавших.

Мы с Шарлем тоже отправились. Когда мы пролезли в дыру и оказались по ту сторону ограждения, Шарль сказал:

— Dis donc, Primo, on est dehors!*

И правда, впервые со дня ареста я почувствовал себя свободным: меня не сопровождала вооруженная охрана, не отделяла от мира колючая проволока.

Картошка была метрах в четырехстах от лагеря, целые залежи. Две доверху наполненные длиннющие

* Мы на воле, скажи, Примо! (фр.)

траншеи, укрытые сверху соломой, землей и слоем снега. Теперь уж от голода точно никто не умрет.

Но достать ее из этих траншей было делом нелегким: снег обледенел и стал твердым, как гранит. Только с помощью лома можно было отбить ледяную корку и обнажить бурт; большинство, однако, предпочитало пользоваться уже проделанными отверстиями и выбирать картошку в одном месте до самого дна: один спускался в траншею и подавал картошку тем, кто стоял наверху.

Старого венгра смерть настигла прежде, чем он успел утолить голод. Он лежал животом на снегу, лицом на куче вырытой им земли, и руки его тянулись к картошке. Кто-то, придя следом, оттащил труп в сторонку и продолжил работу, начатую стариком.

С этого дня наше питание улучшилось. Кроме вареной картошки и картофельного супа мы баловали своих больных еще и картофельными оладьями по рецепту Артура. Для этого тонко скоблили сырую картошку, соединяли ее с вареной, потом все перемешивали и жарили оладьи на раскаленной печке. У этих оладий был привкус гари.

Один Сертелье не мог оценить нового блюда: ему становилось хуже и хуже. Он не только говорил в нос, но уже не в состоянии был проглотить ни куска. В горле у него как будто стоял ком, глотательные движения вызывали удушье.

В бараке напротив под видом больного остался врач-венгр, и я отправился к нему. Услышав, что речь о дифтерии, он шарахнулся в сторону и выставил меня из барака.

Скорее для порядка я всем закапал в нос камфарное масло. Сертелье я внушил, что оно должно ему помочь. Мне и самому хотелось бы в это верить.

24 января. Свобода. Доказательством тому — дыра в колючей проволоке. Подумать только, никаких тебе

больше немцев, селекций, побоев, общих работ, переключек... возможно, мы даже домой вернемся. Нужно сделать над собой усилие, чтобы это осознать, но пока нам не до радости — вокруг разрушение и смерть.

Гора трупов напротив нашего окна растет, уже поднялась над ямой. Несмотря на изобилие картошки, все продолжают слабеть. Никто из больных не поправляется, наоборот, заболевают еще воспалением легких и диареей. Те, кто не в состоянии ходить или не заставляют себя двигаться, лежат пластом на нарах, окоченевают, и никто не знает, когда они умирают.

Впрочем, обессилены все. После месяцев, а то и лет, проведенных в лагере, одной только картошкой мужчине на ноги не поставить. Когда, сварив в очередной раз суп, мы с Шарлем приносим из умывальни в барак двадцать четыре литра, то валимся на койки, чтобы отдышаться, а обстоятельный, хозяйственный Артур тем временем распределяет обед на всех, добавляя нам, трем работникам, по лишней порции (*rabiot pour les travailleurs*) и оставляя на дне бидона немного супа итальянцам за перегородкой (*pour les italiens d'à côté*).

В палате по другую сторону от нас тоже лежат разные, главным образом туберкулезники, но обстановка там совсем иная: все, кто мог, сбежали в другие бараки, а самые тяжелые и слабые угасают один за другим безо всякой помощи.

Однажды утром я зашел туда одолжить иголку. На одной из верхних коек хрипел умирающий. Услышав меня, он сел и тут же, закатив глаза, стал, как мешок, валиться на бок. Лежащий под ним инстинктивно поднял руки, чтобы удержать падающего, но не смог, и тот продолжал медленно скользить вниз. Когда он достиг пола, то был уже мертв, и никто не знал его имени.

А в четырнадцатом бараке, где лежали оперированные, произошло событие из ряда вон выходящее. Наиболее крепкие и здоровые организовали экспедицию в лагерь английских военнопленных, рассчитав, что анг-

личан там давно уже нет. Результаты превзошли все ожидания: участники похода вернулись переодетыми в форму-хаки и с тележкой, наполненной фантастическими продуктами — маргарином, сухой смесью для приготовления пудингов, свиным салом, соевой мукой, водкой.

Вечером в четырнадцатом бараке пели.

Никто из нас не чувствовал в себе достаточно сил, чтобы пройти два километра до английского лагеря и вернуться назад с нагруженной тележкой. Однако удачная экспедиция одних косвенно обернулась выгодой для других, имущественное неравенство дало толчок к развитию производства и расцвету торговли. В нашей палате, где витал дух смерти, заработал свечной завод. Фитили мы пропитывали борной кислотой, а формы делали из картона. Наша продукция целиком уходила к богачам из четырнадцатого барака, которые расплачивались с нами салом и мукой.

Воск на складе электрооборудования нашел я. Помню, с каким недоумением все на меня смотрели, когда я тащил тяжелый слиток к себе в барак. Один даже спросил:

— Что ты собираешься с этим делать?

Я не намерен был раскрывать секреты производства и ответил (к своему собственному удивлению), как частенько отвечали при мне на такие вопросы лагерные старожилы — умелые, «рукастые» заключенные, которые всему могли найти применение:

— Ich verstehe verschiedene Sachen (я много чего умею)...

25 января. Пришел черед Сомоши. Пятидесятилетний венгерский химик, худой, высокий, молчаливый, он, как и голландец, начал уже поправляться после тифа и скарлатины, как вдруг у него поднялась высокая температура. Пять дней он лежал, не проронив ни слова, на шестой открыл рот и сказал:

— У меня под матрацем пайка хлеба. Разделите ее на троих. Я больше есть не буду.

Мы не нашлись что ответить и хлеб не взяли. У него распухло пол-лица. Хотя он и был в сознании, но отгородился от всех глухой стеной молчания.

Вечером он начал бредить и бредил до самого конца. В своем последнем непрерывном сне он был униженным рабом и, как заведенная машина, с каждым выдохом, с каждым сокращением легких под выпирающими ребрами бормотал одно и то же слово «Jawohl!». За это тысячи раз повторенное «Jawohl!» хотелось его придушить или трясти до тех пор, пока он, по крайней мере, не сменит слово.

До этого я даже не думал, что смерть человека может быть такой мучительной.

За окном по-прежнему царит безмолвие. Ворон стало гораздо больше, понятно почему. Время от времени слышится артиллерийская перебранка. Вокруг только и говорят о приходе русских, что они будут здесь скоро, вот-вот... Все говорят, все уверены, но по-настоящему никто этого не осознает. Потому что в лагере отвыкаешь надеяться и перестаешь доверять собственному рассудку. В лагере думать бессмысленно, поскольку события чаще всего непредсказуемы, и вредно, поскольку мысли обостряют чувства, а чувства, в свою очередь, рождают боль и заставляют воспринимать естественный ход событий с излишней долей страдания.

От ожидания, равно как от радости, страха или боли, тоже можно устать. Сломленные восьмидневной борьбой за выживание в этом чудовищном мире, мы дожили до 25 января, и многие из нас слишком устали, чтобы ждать дальше.

Вечером, сидя у печки, мы трое — Шарль, Артур и я — во второй раз почувствовали, что снова превращаемся в людей. Оказалось, что мы можем говорить обо всем. Мне было очень интересно слушать рассказ Артура о том, как в провинции Вогезы люди проводят воскресенье, а Шарль чуть не плакал, когда я расска-

зывал о перемирии с союзниками и вступлении в Италию немецкой армии, о наших трудных, отчаянных попытках найти дорогу к партизанам, о предательстве, о том, как нас схватили в горах.

В темной палате, сзади нас и над нами, все слушали, затаив дыхание, даже те, кто не понимал по-французски. Только Сомоши неистово клялся смерти в своей преданности.

26 января. Мы среди мертвецов и живых трупов. Последние следы цивилизации исчезли. Работа по превращению человека в животное, которую немцы начали еще победителями, завершается ими, уже побежденными.

Тот, кто убивает, — человек; тот, кто совершает беззаконие, и тот, кто терпит беззаконие, — человек; но нельзя назвать человеком того, кто, потеряв всякие ориентиры, делит постель с трупом. Тот, кто ждет, когда умрет его сосед, чтобы забрать себе его хлебную четвертушку, гораздо дальше (часто и не по своей вине) от «человека мыслящего», чем первобытный пигмей или самый жестокий садист.

Бытие в большей или меньшей степени накладывает отпечаток на людские души, вот почему пережившим времена, когда человек в глазах другого человека был вещью, свойственна бесчеловечность. Мы трое обладали определенным иммунитетом, который постоянно друг в друге поддерживали, и я думаю, моя дружба с Шарлем благодаря пережитому вместе не прервется и в дальнейшем.

Это происходило на земле, а в небе, на высоте тысячи метров, среди прорывов между серыми тучами шла таинственная, непостижимая схватка. Над нами, голыми, слабыми, беззащитными, одни люди тоже старались уничтожить других, правда более изощренными методами. Этим людям достаточно было одного движения руки, чтобы разрушить весь лагерь,

уничтожить тысячи людей, в то время как мы, даже собрав воедино всю нашу энергию и волю, не способны были и на минуту продлить жизнь одного из нас.

К ночи вой самолетов в небе стих, и в палате снова стало слышно безостановочное бормотание Сомоши.

Было еще темно, когда я вдруг проснулся. L'rauv'vieux* молчал, я решил, что все кончено. Но тут в последнем порыве жизни он сорвался с нар, я слышал, как он всем телом ударился об пол.

— La mort l'a chassé de son lit**, — заключил Артур.

Мы не могли вынести его из барака среди ночи, поэтому нам ничего не оставалось, как снова заснуть.

27 января. Рассвело. На полу скрюченное тело Сомоши.

Сначала — более неотложные дела. Поскольку воды нет, чтобы вымыть руки, нам нельзя к нему прикасаться до того, как мы приготовим пищу и поедим. Потом нужно вынести ведро (как справедливо замечает Шарль, «...rien de si dégoûtant que les débordements»***). В первую очередь — живые, а не мертвые, мы не можем нарушать дневной распорядок.

Русские появились, когда мы с Шарлем несли Сомоши подальше от барака. Он был очень легкий. Мы опрокинули носилки в серый снег.

Шарль снял шапку. Я, к сожалению, был без шапки.

Из одиннадцати пациентов инфекционного отделения Сомоши единственный, кто умер в эти десять дней. Сертелье, Каньолати, Товаровский, Лакмакер и Дорже (о последнем я еще не упоминал, это был французский предприниматель, который после перенесенной операции по поводу перитонита заболел дифтерией носоглотки) умерли несколькими неделями позже

* Бедный старик (фр.).

** Смерть сбросила его с постели (фр.).

*** Нет ничего противнее избытка (фр.).

во временном русском госпитале на территории Освенцима. В апреле в Котовицах я встретил Шенка и Алкалая, они были в добром здравии. Артур благополучно добрался до родного дома; Шарль снова работает школьным учителем. Мы пишем друг другу длинные письма, и надеюсь, когда-нибудь еще встретимся.

*Авиляна — Турин,
декабрь 1945 — январь 1947*

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Михаил Швыдкой. Послание современникам и потомкам</i>	5
--	---

<i>Примо Леви. Предисловие</i>	9
--	---

ЧЕЛОВЕК ЛИ ЭТО?

Путь	13
На дне	24
Приобщение	45
Ка-бэ	50
Наши ночи	67
Работа	77
Хороший день	85
По ту сторону добра и зла	93
Канувшие и спасенные	104
Экзамен по химии	121
Песнь об Улиссе	130
События лета	139
Октябрь 1944 года	147
Краус	156
Die drei Leute vom Labor	161
Последний	171
История десяти дней	178

Леви П.

Л36 Человек ли это?: Пер. с ит. — М.: Текст, 2001. — 205 с.
ISBN 5-7516-0214-5

Примо Леви (1919 — 1987) — итальянский писатель, поэт и публицист, химик по образованию. В двадцать четыре года он был депортирован в концлагерь. Знание немецкого языка, потребность нацистов в профессиональных химиках, пусть и еврейской национальности, молодость и, возможно, счастливая судьба помогли Леви выжить. Сразу после освобождения он написал книгу «Человек ли это?», считая своим долгом перед погибшими и непосвященными засвидетельствовать злодеяния фашистов. В западной послевоенной культуре П.Леви занимает не меньшее место, чем А.Солженицын в русской, а его самое значительное произведение «Человек ли это?» критика сравнивает с «Одним днем Ивана Денисовича». В Италии книга Примо Леви «Человек ли это?» была названа книгой века.

ББК 84(4Ита)

Примо Леви
Человек ли это?

Редактор Л.О.Тарасова
Художественный редактор Е.П.Кузнецова

Лицензия ИД № 03308 от 20.11.2000
Подписано в печать 25.12.2000. Формат 60 × 90/16.
Усл. печ. л. 13. Уч.-изд. л. 9,12. Тираж 3600 экз. Изд. № 335.
Заказ № 2493.

Издательство «Текст»
125299 Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 7/1
Тел./факс: (095) 150-04-82
Представитель в СПб. и «Книга – почтой»: (812) 311-96-31

Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленных диапозитивов
в ОАО «Можайский полиграфический комбинат»
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93.